

A dramatic painting of a battle scene. In the foreground, a tank with the number '21' on its turret is positioned on a battlefield. Soldiers are visible around the tank, some appearing to be in a state of emergency or combat. The background is filled with thick, billowing smoke and fire, suggesting a large-scale battle or a recent explosion. The overall color palette is dominated by reds, oranges, and greys, conveying a sense of chaos and destruction.

**РОМАН
ГАЗЕТА
НОВОСТИ** НЕДЕЛИ

Ион Деген

В тылу батальона

Ион Деген

В тылу батальона

Буханка хлеба

Авиозу

Почему я вспомнил именно этот день? Ведь там, во время боев в предгорьях Кавказа, были дни более яркие - если можно назвать яркими дни пребывания в аду. Дни, когда я чудом избегал смерти или, вернее, смерть избегала меня. Например, тот осенний день 1942 года, когда бронепоезд "Сибиряк" отразил атаку стада немецких танков. Четыре 76-миллиметровые пушки бронеплощадок и две 37-миллиметровые зенитки и два крупнокалиберных пулемета на открытых платформах впереди и позади бронеплощадок против десятков танковых орудий. Да и сравнить ли маневренность танков с маневренностью бронепоезда, привязанного к железнодорожной колее... Правда, экипажи бронеплощадок были укомплектованы добровольцами-сибиряками, железнодорожниками, которые служили танкистами во время боев на озере Хасан и на Халкин-Голе. Вечером того дня у меня появилось стихотворение:

Воздух вздрогнул.

Выстрел.

Дым.

На старых деревьях обрублены сучья.

А я еще жив.

А я невредем.

Случай.

Грешен. Даже во время боев у меня иногда выкраивалось время глотать книги стихов, они во множестве валялись на путях отступления. И писать стихи. Наверно, в семнадцать лет все пишут стихи...

Случилось это уже позже того дня. А сколько еще не менее страшных дней пришлось пережить летом и осенью 1942 года... Почему же не те дни, а именно этот, прокручивается в моем сознании со всеми подробностями от подъема до отбоя, как полнометражный документальный фильм? Хотя, собственно говоря, подъема не было, ночь была бессонной.

Шесть разведчиков отдельного дивизиона бронепоездов в ту ночь вернулись из ближнего немецкого тыла и по приказу майора Аркуши, командира дивизиона, заняли оборону вдоль северо-западного края железнодорожного вокзала. Майор предупредил, что, как только нас сменят пехотинцы, мы должны пробраться в теснину, в которой скрылся бронепоезд. Километра три от станции. Туда он сумел отойти своим ходом вчера вечером после боя с немецкими танками. Болванкой был пробит сухопарник бронепаровоза. Воентехник Тертычко под огнем противника, обжигаясь, заглушил робоину поленом и паклей. Ночью

должен был подойти "черный паровоз" и вытащить бронепоезд в тыл. "Черными" называли все небронированные паровозы, от "овечки" до "ИС" и "ФД". По какой-то причине "черный паровоз" ночью не пришел. И не пришли пехотинцы, которые должны были нас сменить. Тоже по какой-то причине.

Занять оборону!.. Что бы сказал майор, увидев эту оборону? Но ведь у него была карта-километровка с горизонтальными, и он даже по карте мог представить себе абсурдность такого приказа. Оборона! Шесть человек, вооруженных автоматами, гранатами и кинжалами, должны были прикрыть участок фронта шириной не менее километра, доступный атакам немецких танков...

А что сумеет пехота, которая должна сменить нас?

К майору Аркуше я относился с уважением. Он лучше меня знал, как воевать. У меня в петлицах не было не только двух шпал, но даже ни одного треугольника. Почему же такой идиотский приказ? Значит, ему приказал кто-то, может быть, генерал. Нехорошие мысли вползали в голову ортодоксального комсомольца. Я стыдился самого себя. Но такая оборона!..

Почему именно этот день я вспоминаю? Странно. Отчетливо помню все подробности его, но не могу вспомнить, когда именно все произошло, не могу прикрепить его к определенной календарной дате. Помню только, что этот летний день с легким пушистыми облаками на ярко-голубом небе, вероятнее всего, конца августа 1942 года, будил в душе противоречивые чувства. С одной стороны - не придется мокнуть под дождем. С другой стороны, такой день - раздолье для немецких самолетов, от которых нет спасения. Но если уж говорить о дне, то, конечно, от подъема до отбоя.

Подъем все-таки был. Минута, когда в этом ярко-голубом небе появилась проклятая "рама". Этот немецкий разведывательный самолет с двумя фюзеляжами, хоть он не стрелял и не бомбил, мы ненавидели, пожалуй, больше, чем убивавшие нас "юнкерсы" и "хейнкели". Медленно, словно паря, "рама" своим жужжанием выматывала нервы. Мы ведь знали, что она наблюдает за нами, за каждым нашим движением. А через несколько минут на привокзальную площадь и все открытое рядом с нею пространство с грохотом, который мы слышали, находясь в полукилометре оттуда, выкатили немецкие танки и грузовики с пехотой. Со своего наблюдательного пункта я пытался сосчитать танки. Иногда получалось двенадцать. Иногда четырнадцать. Танки стояли, заслоняя друг друга. В бинокль отчетливо было видно, как немцы, танкисты и пехотинцы, расположились завтракать у своих машин. И нам не мешало бы. Только еды у нас не было. И позиция наша - ужаснее не бывает. Но ведь мы ждали пехоту.

По привычке я приготовил данные для стрельбы броне-

площадок, хотя понимал всю бессмысленность расчетов. В самом благоприятном случае из лощины могло стрелять только орудие передней бронеплощадки. Но по привычке данные для стрельбы были приготовлены и по привычке мы передали их бронепоезду. Благо, связь у нас была налажена, и для этого не пришлось тянуть линию. Степан Лагутин, несмотря на свой рост и вес, в сапожищах сорок шестого размера легко взобрался на телеграфный столб и накинул провод от телефона на третий и четвертый провод между столбами, шагающими вдоль железнодорожного пути. А у бронепоезда на те же провода накинули провод их телефона.

Нас торопили с возвращением. Уже ничего не сказали о пехоте, которая должна сменить. С минуты не минуто ожидался "черный паровоз".

Внезапно в небе появились три наших истребителя. К такому празднику мы не привыкли. Больше месяца не видели нашей авиации, если не считать ночных полетов "кукурузников" - "У-2", пилотируемых героическими женщинами. Немцы хозяйничали в небе. Истребители ринулись к "раме". Мы уже предвкушали, как она, подлая, запыхает и рухнет на землю. Но случилось невероятное. Это мерзкое, едва передвигающееся устройство вдруг на невероятной скорости стало уходить от наших истребителей и скрылось за горизонтом. Такого мы даже представить себе не могли. Нам открылось еще одно свойство "рамы", что, естественно, не добавило любви к ней. Истребители развернулись и улетели на восток, посрамленные неудачей.

И вдруг на нас навалился неопишуемый грохот. Мы чувствовали себя так, словно, прижимаясь к шпалам, лежим между рельсами, по которым несется тяжело нагруженный состав. "Катюша"! Я услышал ее второй раз в жизни. Неделю назад подобный грохот застиг нас врасплох на перроне почти такого же вокзала. Не зная, что это, испуганные, оглушенные неслышанным ранее, необычным грохотом, мы вскочили в первую же раскрытую дверь и бросились на пол. То была станционная уборная. Представляете станционную уборную во время войны? Стыдясь друг друга, мы доковыляли до Терека - добро до него было не более двухсот метров, и окунулись в бурную холодную воду. Мы пытались смыть с себя экскременты, но отмыть удалось лишь автоматы и гранаты. Пришлось раздеться догола и выбросить обмундирование. Остались в одних кальсонах. В таком виде, с оружием и гранатами, связанными проводом, добрались до бронепоезда. Не понимаю, как бронепоезд не развалился от хохота. Несколько дней меня преследовало зловоние. К еде прикоснуться не мог. Так состоялось мое знакомство с "катюшей".

Тогда реактивные снаряды пролетали над нашими головами и взрывались неизвестно где. А сейчас мы наблюдали результаты этого залпа в пятиста метрах от нас. Загорелось четыре танка - три Т-4 и один Т-3 - и несколько грузовиков. Вся площадь была завалена немецкими трупами. Я смотрел на горящие машины, на трупы и такая радость обуяла меня, что даже на какое-то время забыл о проклятой "раме", удравшей от наших "Як-ов". Но когда немцы начали грузить в кузова раненых, я опустил бинокль. Хоть и немцы, но не для меня такое зрелище. Ко-

нечно, я постарался, чтобы моя трусость осталась незамеченной ребятами.

В это время подошла наша смена, которую уже не ждали, взвод, ведомый младшим лейтенантом. Тринадцать человек, даже не взвод, а отделение. Но здесь, на Кавказе, тринадцать человек могли считаться ротой и даже батальоном. Двенадцать красноармейцев оказались азербайджанцами. В основном молодые ребята. Половина из них не знала русского языка. Младший лейтенант - мрачный пожилой дядька, худой и небритый, с перекошенным кубиком в одной петлице. У всех, включая младшего лейтенанта, винтовки-трехлинейки. Ничего себе вооружение против танков! Жалко их стало до ужаса. Я тут же объяснил младшему лейтенанту, что немцы без единого выстрела могут пройти через вокзал на железнодорожные пути и дойти до Терека. Взвод окажется в окружении. Я описал обстановку именно в тех выражениях, которые формулировал в течение нескольких предрассветных часов. Посоветовал отойти на пятьсот-шестьсот метров и окопаться на склоне холма над рекой. Младший лейтенант молча выслушал меня и не отреагировал. А я что? Не мог же семнадцатилетний пацан, красноармеец без звания, хотя и командир отделения разведки, приказать пожилому командиру взвода, младшему лейтенанту. Субординация. Да и части разные.

До бронепоезда мы добрались без приключений чуть ли не в тот самый момент, когда подошел "черный паровоз". Звякнули буфера последней открытой площадки с зениткой. Мы взобрались, и ребята угостили нас завтраком. Повезло. Как бы мы добирались, опоздав к прибытию "черного паровоза"?

На площадку пробрался старший лейтенант, командир бронепоезда, и очень сердечно, совсем не по-уставному благодарил нас за данные о немцах. Оказывается, произошло нечто невероятное. По грунтовой дороге в лощину, параллельную железнодорожному пути, прикатило несколько "виллисов". В одном из них был член Государственного комитета обороны, народный комиссар путей сообщения, товарищ Каганович. Железнодорожники, экипажи бронеплощадок, относились к своему наркомом с пиететом и стихийно устроили ему грандиозную встречу. Некоторых он знал лично. А вокруг генералы и прочие высокие чины. И тут как раз по телефону поступило наше сообщение и подготовленные данные для открытия огня. Естественно, бронепоезд ничего сделать не мог. Но кто-то из чинов сказал, что можно подкатить "катюшу" и передать ей эти данные. А другой чин сказал, что "катюша" все еще засекреченное оружие, и она не может открыть огонь, когда над нами висит "рама". Тогда еще кто-то сказал, что надо связаться с полком истребителей. Нарком приказал связаться. Связались. Все-таки не младшие лейтенанты. А результат мы наблюдали. Степан Лагутин вовремя накинул провода, а я просто так, ради интереса, естественно, не имея представления о нашем участии, доложил о результатах, когда и нарком, и генералы, и прочие чины еще были рядом с бронепоездом.

Кто-то из ребят по секрету сообщил, что вроде по пути к бронепоезду Каганович лично застрелил какого-то командира роты, который в течение суток не вел своих

бойцов на передовую, а бродил где-то и отбирал у кабардинцев баранов, выдавая им липовые справки. Правда это или выдумка - не знаю.

Старший лейтенант ушел к себе, а мы завалились спать у зенитки и проснулись уже в Беслане.

Возможно, именно благодаря "катюшам" я выделил этот день. Когда еще во время боев на Северном Кавказе случалось, чтобы наше отделение на передовой не подвергалось смертельной опасности? А ведь именно таким выдался этот день, безопасным!..

В Беслане располагалась база бронедивизиона - шесть пассажирских вагонов. Один из вагонов был наш, разведчиков, и еще кого-то из управления, уже не помню кого. Когда бронепоезда приходили на экипировку в Беслан, мы отдыхали в своем вагоне. Вот и на сей раз предстояло несколько дней отдыха и безделья, пока будут менять поврежденный сухопарник бронепаровоза. Да и площадки были основательно поклеваны. И орудиям потрудившимся предстоял основательный уход.

Вагон был непривычный, заграничный. Говорили, что польский, поставленный на наши оси. Застекленные двери отделяли купе от коридора. Какой-то доброжелатель, зная мое пристрастие к литературе, оставил на моей полке газету "Правда" с опубликованной там пьесой Корнейчука "Фронт". Проглотил эту пьесу и задумался.

На фронт мы выехали из Грузии в начале июля. Воевать начали под Армавиром. За два месяца доотступались до предгорий Кавказа. Зачитали нам приказ № 227 - "Ни шагу назад!" - еще недалеко от Армавира. Но в действиях нашего дивизиона я не замечал перемен. Воевали, как и до приказа. И командир дивизиона майор Аркуша был таким, как до приказа. И слухи доходили до нас, что он так же не в ладах с комиссаром дивизиона, батальонным комиссаром Лебедевым, как воевал с ним до приказа. Батальонный комиссар Лебедев. Мы, так называемые славяне, вообще не понимали, зачем дивизиону понадобился этот сукин сын и трус, которого никто ни разу не видел в бою. И вот перед глазами текст пьесы, в которой разрешили критиковать генералов. Шутка сказать - не каких-то командиров взводов - генералов!

Я вспомнил сегодняшнее утро. Кто отдал приказ расположить оборону там, где мы ее занимали и где сменил нас несчастный взвод мрачного младшего лейтенанта? А попробуй не быть мрачным, когда у тебя только треть положенного личного состава, половина которого не понимает твоего языка. И вооружение против немецких танков - трехлинейки образца конца прошлого столетия. Выходит, не такие уж крамольные мысли возникали в моей голове тем утром...

Я пишу сейчас под контролем жесточайшей внутренней цензуры. Я пытаюсь честно описать свои чувства той поры - чувства ортодоксального комсомольца, добровольца, свято верившего в гениального полководца и его безупречный генеральный штаб. Я опасаясь, что на эти чувства влияют мои нынешние знания о войне, о полководцах, и о нас, несчастных. Даже мое отношение к батальонному комиссару Лебедеву в ту пору я оценивал как недопустимую крамолу. Но, просеивая воспоминания о мыслях по прочтении пьесы, снова и снова вижу пацана,

в душе которого затеплилась надежда, что на фронте что-то изменится. Не в действиях красноармейцев. Я видел, я знал, как они действуют. И не в действиях майора Аркуши. Я видел, как он действует. Изменится в действиях генералов. Могут же они, если захотят. Пример - сегодняшний залп "катюши". (Правда, кто-то из ребят сказал, что это организовали не генералы, а чины пониже.) Я пытаюсь беспристрастно вспомнить, что именно я думал тогда об этом залпе, к которому оказался причастен. То, что в душе слегка задрал нос по поводу этой причастности, помню точно. Простите семнадцатилетнему. Но пришло ли мне в голову, что если бы на фронте существовала связь и взаимодействие между родами войск, утреннее побоище не было бы исключением? Вероятнее всего, этот успех я связал с внезапным приездом ближайшего соратника великого кормчего и в очередной раз пришел в восторг оттого, что у нас такие вожди...

Из репродуктора в коридоре вагона доносилась музыка. Песни, которые мы знали. Но тут... Я не расслышал названия песни и ее автора. Вероятно, не обратил на это внимание, все еще просматривал газету. Но тут тихая музыка вонзилась в душу. Нет, не вонзилась - окутала ее добрым облаком. И слова вроде бы простые, даже примитивные. "Споемте, друзья, ведь завтра в поход уйдем в предрасветный туман". Но мелодия! И этот задумчивый, мягкий аккомпанемент баяна! Я выглянул в коридор. Мои друзья, те, что были в коридоре, застыли, глядя в черную тарелку репродуктора. Лица их были одухотворены. Это были не те, привычные мне головорезы. Не положенная нам по штату интеллигентность внезапно снизошла на лица моих друзей и подчиненных. Затихла мелодия. "Вы слушали, - произнес диктор, - песню композитора Соловьева-Седого "Вечер на рейде". Передаем..." Не знаю, как мы восприняли бы песню в другой день. Но в этот!.. И сейчас, когда звучит "Вечер на рейде", передо мной возникают картины этого дня. И то первое необычное восприятие этой песни.

Я вышел в тамбур и стал в открытой двери вагона. Метрах в пятидесяти, на запасном пути, стоял бронепоезд. На бронепаровозе копошились ремонтники. Но ассоциация с песней, в которой "наш бронепоезд стоит на запасном пути", у меня почему-то не возникла.

Наши вагоны примостились на невысокой насыпи. По осыпающейся гальке шла цыганка, а за ней выводок грязных, измученных и худых детей, вероятно, погодков. Пять девочек и мальчиков, самой старшей не более десяти, а младшему, типичному микеланджеловскому купидону, но очень замурзанному, не больше пяти. Цыганка тоже была истощенной. Мне она показалась старой. Не меньше тридцати, может быть, даже с лишним. Распушенные черные волосы ниспадали ниже лопаток. Из одежды ее я запомнил только длинную развевающуюся черную юбку. Цыганка увидела меня и остановилась.

- Хорошенький, дай погадаю.

Я рассмеялся. Хорошенький! Додуматься до такого!

- Не надо гадать. Погодите, я вам чего-нибудь вынесу.

- "Хорошенький!" Она с такой же легкостью могла называть меня Апполоном Бельведерским.

Зашел в купе, взял со столика буханку хлеба и вынес цыганке. На глазах у нее появились слезы. Дети, которые

до этого меланхолично босыми ногами перекачивали гальку, вдруг посмотрели на меня как на существо неземное. Буханка хлеба в ту пору, конечно... Но ведь их шестеро. Таких голодных. О, я знал, что значит быть голодным!

- Хорошенький, дай руку. Погадаю тебе. Хорошее у тебя будущее, хоть и трудное.

- Нет, спасибо, не надо.

Из-за моей спины из тамбура протиснулся Коля Гутеев.

- Погадай мне.

Цыганка пристально посмотрела на Николая и отошла от лесенки вагона.

- Постой! Я тебе тоже дам буханку хлеба.

Цыганка на мгновение остановилась. Остановилась так, что, казалось, завизжали тормоза. Снова глянула на Колю и, не промолвив ни слова, направилась к вокзалу. Дети поплелись за ней.

Из вагона нас окликнул Степан Лагутин, и мы забыли о встрече с цыганкой.

Вспомнил о ней только в октябре. Госпитальная палата, в которой я лежал, в другой жизни была школьным классом. Госпиталь в городе Орджоникидзе. В огромном окне сверкала заснеженная шапка Казбека. Я смотрел на нее, как замороженный. Что-то говорило мне, что эта неземная красота отторгает от меня все боли и несчастья. Не знаю, не помню, были ли такие цвета на одежде цыганки, но однажды перед заходом солнца, когда одна вершина Казбека зарумянилась, а на второй нерешительно смешалось розовое снежно-лиловым, я вспомнил цыганку у подножья нашего вагона. И выводок голодных детей. И изумление на их лицах, когда она почему-то просто так вдруг не взяла буханку хлеба. Почему она отказалась погадать Коле Гутееву? Неужели знала, что произойдет? Неужели знала, что случится той страшной ночью, когда погибнет Коля, а меня, раненого, Степан Лагутин чудом вытащит из немецкого тыла? О каком трудном моем будущем она говорила? Может быть, знала о моем ранении? Ладно, допустим, она знала, что Коля погибнет. Но ведь он предложил ей буханку хлеба! Гадая, могла не сказать ему о гибели. Почему она этого не сделала? Шутка ли, буханка хлеба! Отказаться от нее матери пяти голодных детей, чтобы не высказать правды, которая никому не может быть известна... Невероятно!

Я пытался вспомнить, как выглядела эта цыганка. Красивая? Не знаю. Тогда мне, семнадцатилетнему, она казалась старой, значит, не должна была казаться красивой. Не помню, в госпитале или только сейчас, вспоминая, я увидел на ее изможденном лице гордое благородство.

Этот день вместил в себя многое. Правда, он оказался днем исключительным: в отличие от других дней, наше отделение, находясь на передовой, на самом деле не подвергалось опасности. И все же, мне кажется, не в этом его исключительность. Я увидел мать, которая не солгала, хотя ее ложь никто не в состоянии был бы обнаружить. Не солгала и оставила голодными своих детей!

Прошло шестьдесят шесть лет после того летнего дня 1942 года, который прокручивается сейчас в моем сознании как полнометражный документальный фильм. Наверное, это закономерно, что самым ярким событием того дня, почти не обратившим на себя внимание в ту пору, осталась встреча с цыганкой.

П.М.П.

Командир батальона посмотрел, как над раздавленной немецкой гаубицей догорает мой танк. Потом посмотрел на меня и ничего не сказал. А что скажешь, если из всего экипажа случайно остался только командир?

Майор яростно соскребал грязь с сапог об край гусеницы своей машины. Но грязь немедленно налипала, как только сапог касался земли. Майор махнул рукой и полез в башню.

Я знал, чего он хочет. Ему нужны люди. Он ждал, что я сам попрошусь в бой. Черта с два! Хорошо хоть, что у него хватило совести не приказывать.

Только что я пришел оттуда. Выскочил. Дважды во время осеннего наступления со мной случалось чудо. Хоть бы на один день уйти от этого. Нарезаться. Забыть. Если он прикажет, я, конечно, пойду. Но сам? Не могу. Командир батальона тоже человек. Должен ведь он понимать, что значит в одном бою похоронить два экипажа.

Комбат все еще торчал в башне, и танк словно врос в глину. И я стоял, ожидая приговора.

Комбат изобразил улыбку:

- Послушай, Счастливчик (в бригаде так прозвали меня за живучесть), санвзвод где-то там за третьим батальоном. Но наших раненых подбирает пехота. Вон, видишь? В том фольварке полковой медицинский пункт. Пойдешь туда. В общем, гляди, чтобы наших ребят не обижали. Ясно? Ну, бывай.

Комбат исчез в башне, не опустив задней крышки люка. Мотор зарычал. Корма на мгновение осела, и танк рывком выскочил из ложины. Он пошел мимо черных дымов над горящими танками, обозначившими направление главного удара.

Я постоял немного. Смотрел, как гусеничная колея медленно наполняется водой. Дождь приятно охлаждал обожженное лицо и руки. Пули свистели высоко над головой. Сапоги утопали в грязи по самое голенище. Хорошо здесь, безопасно. Жаль только, что нельзя прилечь и поспать.

До фольварка я добрался не скоро. Это в ложине было спокойно. А здесь - короткая перебежка, и снова обнимаешь мокрую землю. Только за насыпью, почти перед самым фольварком, можно было подняться в полный рост.

Два санитары с носилками едва переставляли ноги.

Черт знает что творится в этом тылу! Раненые валяются на мокрой соломе. Плащ-палатки не спасают их от дождя. А эти дурни тащили в дом раненого из амбара. Убить их мало! Конечно, я понимал, что под крышей не хватает места для всех. Но именно этих, мокнущих под дождем, в первую очередь надо отнести в дом, где им окажут какую-то помощь. А эти дурни...

Крик, вместивший в себя боль всех раненых на войне, полоснул меня по спине. Я оглянулся.

Носилки валялись в грязи. Санитар, который был сзади, сидел и пытался вытащить из-под носилок тощие ноги с размотавшимися обмотками. Рядом на земле корчился от боли и стонал молоденький солдатик. Шинель свалилась в лужу. С бинта на культе голени стекала жидкая грязь.

Ну, это уже слишком. Мы под огнем гусеницы натягиваем, и ничего, хватает сил, а эти тыловые сукины сыны кан-

туются тут в безопасности и раненого не могут перенести. Пристрелю гада! Я подскочил к санитару.

Глаза его с мешками век на изможденном лице смотрели сквозь меня в бесконечность.

Черт знает что! Куда такому старику тащить носилки по склизкой глине? Да ему же, пожалуй, лет пятьдесят будет! Я помог старику подняться и уложил паренька на носилки. Санитар вытянулся передо мной.

- Спасибо, товарищ командир.

Неудобно мне стало от его стойки смиренно. И как это старые солдаты догадываются, кто офицер, а кто рядовой. В комбинезонах мы все на одно лицо. Я хотел взять носилки, но санитар мягко отстранил меня:

- Не надо, товарищ командир, мы привычны.

Он подоткнул полу шинели под раненого паренька, наматал мокрую обмотку на тощую свою ногу и вместе с напарником, таким же изможденным и апатичным стариком, потащил носилки в дом. Ну и порядки в этом тылу!

Двор был забит ранеными. Никогда еще одновременно мне не приходилось видеть так много окровавленного мяса.

Я неприкаянно топтался по двору. Черт его знает, какие обязанности взвалил на меня комбат. Меня таким делам никогда не обучали.

Раненых приносили без перерыва. Некоторые приходили сами. Во двор въезжали санитарные машины. Потом выезжали нагруженные. Грузили больше всего из дома и тех, которые мокли на соломе.

Кто его знает, может, П.М.П. и был подчинен какому-то порядку, но разобраться в нем я все еще не мог.

За поворотом дороги машины попадали под минометный обстрел. Но шоферы насобачились и, словно играя в кошки и мышки, проскакивали опасное место. А одну машину все-таки накрыло, да так, что некого было возвращать сюда, в П.М.П.

Уже давно я заметил синеглазую пигалицу. Она командовала сортировкой и погрузкой раненых. Молоденькая такая, маленькая. Глазищи грустные. Лицо бледное. Под глазами черные круги. Она несколько раз натыкалась на меня, но проходила мимо так, словно я уже не числился в списках личного состава гвардейской бригады и вообще не числился на свете. Неужели кого-нибудь взрослее не нашлось на такое дело в этом дурацком тылу?

Во двор влетел "виллис". Из него неуклюже выбрался старый подполковник. Тоже мне подполковник! Узкие погоны на шинели, которую, по-видимому, корова жевала. А лицо ничего, хорошее, доброе. Синеглазая подбежала к нему, долго трясла его руку. Между прочим, идет ей улыбка.

До меня долетали только осколки разговора:

- Очень трудно, профессор. Четвертые сутки...

- Знаю, девочка. Вас уже догнал медсанбат. Разворачивается...

И еще что-то сказал. Мне бы хотелось услышать. Любопытно все же. Но подойти ближе неудобно. Еще подумает, что она меня интересуется.

Подполковник и синеглазая скрылись в доме.

- Эй, Счастливчик! - окликнул меня с носилок обоженный танкист.

Я как раз оказался рядом.

Лицо - сплошной черный струп, как уголь. Под танкошлемом бинт. И кисти рук забинтованы. Черт возьми, кто же это такой? Конечно, кто-то из своих, если знает мою кличку. Но кто?

- Что, гвардии лейтенант, разукрасили так, что и узнать не можешь?

Определенно, он хотел сказать это, демонстрируя свое мужество. Только разве утаишь в глазах ожидание страшного ответа? И то ли от этих глаз, то ли от голоса, вырвавшегося из струпа, мурашки забегали у меня не только по спине, но даже по рукам и ногам.

- Чего там узнать невозможно?

Я тянул время и по какой-нибудь примете старался определить, кто же это такой. И тут в прорехе порванного на груди комбинезона, промокшего насквозь, измызганного, с комками глины, я увидел орден Александра Невского.

Недаром я Счастливчик! Только у командира первого батальона этот орден. Получил недавно. Ох, и красивый был дядька! Все связистки млели, глядя на него...

Я провел рукой по своему лицу. Больно. Но пузырей и струпов вроде нет.

- Давно вы здесь, товарищ гвардии майор?

Я спросил так, словно узнал его в первую секунду.

- С утра. Меня подбили вскоре после тебя.

- И вас до сих пор маринуют?!

Приказ комбата стал вдруг понятным и осмысленным. Выходит, не зря я тут околачивался. И как это я раньше его не заметил? Вроде не раз оказывался рядом с ним...

В дом я не вошел, а ворвался. Перешагнул через носилки в сенях и открыл дверь.

Посреди комнаты не табуретках стояли два тазика. В одном из них полоскал руки подполковник (уже в халате с закатанными рукавами). Мыл он руки неторопливо, аккуратно, да еще разговаривал с этой синеглазой. Словно не валяются раненые под дождем. Словно вообще нет войны.

Я чуть было не вытащил пистолет. Правда, батальонный фельдшер как-то рассказывал, что хирурги перед операцией моют руки больше десяти минут. Но ведь гвардии майор с утра без помощи!

Нет, я даже не притронулся к кобуре. Но я сказал! Сказал, может быть, не совсем так, как принято в изысканном обществе.

Не успел я закончить фразы, как на меня налетела пигалица:

- А вы здесь как очутились? Командовать захотелось? Вот и убирайтесь к себе и командуйте. Здесь и без вас командиров хватает!

Я бы ей показал, как положено разговаривать со мной. Но дверь с грохотом захлопнулась перед моим носом.

За поворотом дороги снова стали рваться мины. Синеглазая выскочила во двор, чуть не сбив меня с ног. И опять грузили раненых.

Я пошел к майору, чтобы не болтаться без дела.

Закончили погрузку. Санитары разносили обед. Утром перед атакой мне почему-то совсем не хотелось есть, а сейчас я кормил майора и чувствовал, как живот прилипает к спине. Попросить было почему-то неудобно. Черт знает почему. Все-таки я был единственным целым в этом ско-

пище боли и крови. Но санитар сам принес мне котелок. Без моей просьбы.

Я даже не предполагал, что рассольник может быть таким вкусным. Какой-то порядок здесь все-таки существовал.

Дождь перестал моросить. Бой уходил все дальше и дальше. Дорога уже не обстреливалась. А майор все еще лежал на носилках и курил самокрутку из моей руки. Ну, сейчас она не отделается от меня!

Тазики все еще стояли на табуретках. В комнате было пусто. Тихо. Я открыл дверь с надписью "Операционная".

Все это я увидел, как при вспышке оружейного выстрела. Профессор стоял за столом и что-то отсекал в ране обыкновенными кривыми ножницами. Со второго стола санитары снимали...

За войну мне многое пришлось повидать. Но тут я почувствовал, что меня начинает мутить.

Два других санитаров держали носилки с веснушчатым сержантом и ждали, когда освободится стол.

К стене, стоя, прислонился высокий хирург. Не знаю, стар он был или молод. Все лицо закрывала желтоватая марлевая маска. Только глаза. Знаете, какие у него были глаза? Я даже не уверен, что он заметил меня. Он молитвенно сложил руки в резиновых перчатках. Он держал их чуть ниже лица. А спиной ко мне стояла та самая девушка. В первое мгновение, когда из-под халата хирурга она извлекла стеклянную банку, я еще не понимал, что она делает. Но пока она поправляла его халат, я увидел, что в банке моча.

Десять минут необходимо хирургу, чтобы помыть руки перед операцией... Так рассказал нам когда-то батальонный фельдшер.

Меня не заметили. Я тихо затворил за собой дверь. Я вышел из дома. Я покинул фольварк, даже забыв попрощаться с майором.

По размытой танковой колее я пошел разыскивать своего комбата.

Командир взвода разведки

*"Средь мертвой тишины
Мне ветер нашептал:
Не выйти из войны
Тому, кто воевал".*

Инна Лиснянская

Всё... Конец... Каждая из шести секунд, в течение которых еще был какой-то шанс выскочить из горящего танка, казалась ему вечностью. Загорелось сидение. Обожгло ягодицы и бедра. Боль подбросила на ноги. Он схватил рукоятку перископа, пытаясь поднять переднюю крышку люка. Заднюю в этих боях он не закрывал ни разу. Но руки почему-то были ватными. Крышка не открывалась. Всё... Наверно, истекли шесть спасительных секунд. Дым горячей газойли сдавил горло...

А дальше? Был он еще жив? Или это привиделось ему уже после смерти?

Передняя крышка люка откинулась сама по себе. На фоне легкой августовской тучки появилась голова ангела. Всё...

Он открыл глаза. Ангел сидел рядом с ним, лежащим на траве метрах в тридцати от горящего танка. Ангелом оказалась невысокого роста красивая девушка с погонами младшего лейтенанта. Тонкую талию перетягивал ремень с пистолетом и подсумком с гранатами. У ног на траве автомат ППШ, а не санитарная сумка. И погоны не узкие, не медицинские. До него дошло, что ангел, вернее, что младший лейтенант, не медичка. И тут чувство стыда превозмогло боль в ягодицах и бедрах, потому что, хоть он лежал на спине, но даже спереди голое тело проступало сквозь дыру в прожженном комбинезоне и брюках.

А еще он не мог понять, каким образом оказался тут. Неужели эта маленькая девушка смогла извлечь из башни больше семидесяти килограммов живого веса? А дальше? Как спустить эти килограммы с высоты двух с половиной метров? Как оттащить от горящего танка?

Оттуда, куда ушли уцелевшие машины, подошли солдаты. Человек десять. Половина из них в маскхалатах. Понятно: это разведчики. Пожилой сержант, ему никак не меньше тридцати пяти лет, с некоторым смущением сказал:

- Ну, даешь ты, командир. И как это ты успела? А мы ведь залегли, когда по танкам открыли огонь. Виноваты.

- Ладно... Вы лучше снимите с него комбинезон. Сержей, дай-ка мне пару индивидуальных пакетов.

Но индивидуальные пакеты не понадобились. Из тыла примчался батальонный военфельдшер, лейтенант медицинской службы Ванюшка Паньков, и санитар из его взвода. Они распорол комбинезон, брюки и перевязали оба бедра у самого паха. Добро, разведчики со своим младшим лейтенантом уже ушли. Надо же! Совсем еще девочка - командир взвода разведки!

На следующий день бригаду вывели из боя. Какую там бригаду... В их батальоне осталось два танка - командира и еще один. А из экипажей - человек двадцать.

Лейтенант отказался от направления в госпиталь. Даже в санвзвод бригады не обратился. Ожоги на ягодицах зажили быстро, а на внутренней поверхности бедер не заживали. Ходить приходилось в раскорячку. По всем признакам до следующих боев еще далеко. Ни танков, ни пополнения. Он был уверен, что до следующих боев будет в порядке. Но болело, и он все чаще приставал к Ванюшке Панькову: *делай что-нибудь!*

Однажды во время перевязки Ванюшка сказал:

- Тебе, кажется, повезло. Тут, в имении, расположилась армейская аптека. Подойди к ним и попроси синтомициновую эмульсию и спермокрин. Вылечу тебя в два счета.

- Чего это я должен подходить? Ты батальонный фельдшер, ты и подойди. Я же не зову тебя регулировать прицелы или длину тяги акселератора.

- Чудак-человек! Кто же мне даст? А ты боевой гвардейский офицер, увешанный орденами. Тебе никто не откажет.

Лейтенант сомневался. В аптеке работают женщины. А он в их присутствии чувствовал себя как-то неловко. В училище в их роте только четверо курсантов, и он в их числе, не ходили по бабам, что было поводом для сальных шуток однополчан. Их даже окрестили - четыре капуцина. А еще до училища в госпитале после ранения он пережил ужасный конфуз. Очень нравилась ему сестра Дина Мирзоева, азербайджанка, на пять лет старше его, семнадца-

тилетнего. Она всем нравилась. Когда раненые обсуждали ее статьи и возможные варианты, он сладостно умирал от напряжения. И вот как-то после отбоя Дина позвала его в ординаторскую. Госпиталь спал. Дина привлекла его к себе. Обнимая его, она лежала под ним с закрытыми глазами. За мгновение до того, как все должно было произойти, его за волосы приподняла дежурный врач Мария Николаевна. Они не слышали, как она вошла. И вообще, почему она вошла, если должна была оставаться в ординаторской на третьем этаже?

- Дина, ну как ты можешь? Он же еще совсем мальчик!

Ни одна из ран не причинила ему такой боли, как эти слова Марии Николаевны, Да и потом... Может, именно это было причиной того, что в училище он не ходил к бабам? Может, по этой причине он сейчас так не хотел идти в аптеку? Но странно, Ванюшку почему-то поддержали все оставшиеся в живых офицеры - один из его взвода, еще два из их роты и четыре уцелевших из Первой.

Армейская аптека располагалась в одноэтажном каменном здании. Дверь. По обе стороны от нее по два окна. До аптеки проводил его Ванюшка и шесть офицеров. Довели до двери.

- Ну, давай, - сказал Ванюшка. - Ни пуха, ни пера.

За дверь открылось просторное помещение, уставленное небольшими столиками. Штук тридцать, не меньше. За каждым сидела девушка в белом халате. И каждая, оторвавшись от своих колб, весов и пакетиков, подняла глаза на лейтенанта. А лейтенант остановился, как болванка, ткнувшаяся в броню. За столиками в первом ряду напротив двери сидели две очень красивые девушки, яркая брюнетка и не менее впечатляющая блондинка. Именно она, приветливо улыбнувшись, сказала:

- Ну, здравствуйте, лейтенант.

- Ох, простите! Конечно, здравствуйте.

- Так что вас привело к нам?

- Понимаете, наш батальонный фельдшер послал меня попросить у вас два лекарства - синтомициновую эмульсию и спермокрин.

Аптека улыбнулась.

- У меня ожоги медленно заживают, и Ванюшка, значит, наш батальонный фельдшер сказал, что лекарства ускоряют заживление.

- Бедненький! А где у вас ожоги?

Он почувствовал, что заливается краской. К счастью, девушки за всеми столами, не спускавшие с него глаз, почему-то отвлеклись и посмотрели на окна.

- Вы не ответили. Так где же у вас ожоги?

- Бедро, в общем.

- Бедро. Бедненький! - Блондинка повернулась к девушке, сидевшей сзади от нее. - Люба, приготовь баночку синтомициновой эмульсии. А вместо спермокрин я предложу вам другое лечение. И даже сама займусь им.

- Почему ты? - вступили брюнетка. - Не исключено, что мое лечение окажется более эффективным.

Девушки рассмеялись. Только сейчас до лейтенанта дошел смысл происходящего. Только сейчас он сообразил, что корнем слова спермокрин является сперма. Только сейчас он проследил за взглядом девушек, повернулся и за каждым окном увидел своих товарищей. Он выскочил

из аптеки. Вслед за ним выскочила брюнетка с баночкой в руках.

- Стойте, гвардии лейтенант. Вот ваша эмульсия. Приходите. Вы ведь совсем рядом с нами.

Ванюшке Панькову досталось тут же по пути в подразделение. Но он, поддержанный офицерами, перешел в наступление:

- Ну и дурак ты. Я ведь знал, что ты понравишься. Ты бы спасибо мне сказал, девственник несчастный.

Вечером Ванюшка подошел к нему:

- Слушай, лейтенант, пошли в аптеку?

Лейтенант промолчал, потом спросил:

- Ты ведь видел младшего лейтенанта, которая вытаскила меня из танка? Я даже не поблагодарил ее. Не знаешь случайно, из какой она части?

- Еще бы! Это знаменитая Марина Парфенова, командир взвода в роте дивизионной разведки 184-й стрелковой дивизии.

- 184-й? Так мы с ними взаимодействуем с самой весной! Дивизионной разведки? Значит они где-то рядом со штабом дивизии. Вот подживут ожоги, пойду туда.

- Чудик. До штаба дивизии больше пяти километров, а до аптеки шестьсот метров. А где еще она, дивизионная разведка? И кто знает, как примет тебя знаменитая Марина Парфенова. А эта красавица-брюнетка уже готова... Долго еще будешь оставаться дураком?

Лейтенант повернулся и ушел. Он был полон решимости найти дивизионную разведку.

Синтомициновая эмульсия оказалась чудодейственной, ожоги почти зажили. Но планы лейтенанта столкнулись с планами командования. Трехосный "студебеккер" в спешном порядке привез оставшихся в живых офицеров и механиков-водителей на ближайшую железнодорожную станцию, там уже разгружался эшелон с танками и экипажами.

Всего два дня было у лейтенанта на знакомство с новым экипажем, на интенсивные занятия, чтобы хоть как-то подготовить к бою почти необученных мальчиков, выпускников учебно-танкового полка, и на то, чтобы подкормить отощавших в тылу танкистов, без чего не могло быть речи о подготовке экипажа к бою. Для подкормки лейтенант не погнушался некоторой экспроприацией продуктов питания у местных литовцев. А через два дня танковая бригада прорыва вступила в бой. Началось осеннее наступление.

Первый день наступления оказался удачным. Батальон вклинился в немецкую оборону на пятнадцать километров. За ужином лейтенант налил каждому члену экипажа по сто граммов и похвалил за умелые действия. Утром второго дня все оказалось иначе. Танки пошли в атаку без артиллерийской подготовки. Сказалось и то, что это была уже немецкая земля. У самого фольварка сожгли машину из его взвода. По вспышке выстрела лейтенант заметил немецкий Т-4 и уничтожил его. В самом фольварке они убили не менее пятнадцати фрицев. В полукилометре на юго-запад от фольварка, на опушке березовой рощи, увидели группу из примерно десяти человек. Лейтенант уже хотел отдать команду открыть огонь, но что-то заставило его взяться за бинокль. Невероятно! Это были дивизионные разведчики с Мариной Парфеновой.

Лейтенант приказал механику-водителю укрыть машину между домом и амбаром, выскочил из танка и помчался навстречу разведчикам. Они еле плелись. Оказалось, за неделю до начала наступления их послали в немецкий тыл с заданием передавать по радиации обстановку, не обнаруживая себя, не вступая в бой и не захватывая "языка", что обычно было их основной работой. Ему очень хотелось обнять Марину, своего спасителя. Но он только осторожно снял ее правую руку со ствола автомата, поднес к своим губам и нежно поцеловал.

- Спасибо вам огромное. Я тогда даже не успел вас поблагодарить. Спасибо. Спасибо.

- Командир, это же, никак, твой крестник? - спросил пожилой сержант, тот самый, который оправдывался тогда, возле сгоревшего танка.

- Рада вас видеть, лейтенант, - сказала Марина, - заняв этот подлый фольварк, вы помогли нам выйти к своим. Дай нам Бог остаться в живых. Небось еще встретимся.

На четвертый день подбили его танк. Выжили механик-водитель и он. Из старых офицеров, пришедших в бригаду в начале лета после окончания училища, в батальоне никого не осталось. И снова ожидание формирования. Ожидание новых танков и новых экипажей. А пока оставшихся в живых разместили в одиннадцати километрах от переднего края, от линии немецкой земли, на которой захлебнулось осеннее наступление. Оборону занимала все та же 184-я стрелковая дивизия. И опять рота дивизионной разведки была на пять километров ближе к передовой.

Лейтенант пришел туда в дождливый полдень конца октября. Встретил его капитан, командир роты. Немолодой, примерно такого же возраста, что и сержант, который назвал его "крестником".

- Так ты и есть тот самый танкист, которого вытащила Марина? Ну, садись. А Марина спит. Ночью она с ребятами притащила "языка". Да какого "языка"! Можно сказать, твоего коллегу. Командира взвода из танковой дивизии СС. Если и сейчас ее не произведут в лейтенанты!.. Понимаю, гвардии лейтенант, что ты пришел к Марине. Но честное слово, не стоит ее будить.

- Что вы, товарищ капитан! Ни в коем случае. Приду в другой раз. Пожалуйста, передайте ей привет.

- Передам, а как же?.. Куда ты? Садись, перекусим. Самое время обеда. А Марина говорила о тебе. Скромный, говорит. Это редко, чтобы Марине кто понравился. Потому и в звании не повышают и награждают не очень. Сволочь у нас начальник разведки дивизии. Трус и бабник. А Марина блюдет себя. И знаешь, гвардии лейтенант, ее взвод, а чуть ли не половина там уголовнички, любит ее за это, а не только за то, что отважнее разведчика не сыщешь. А еще любят за то, как бережет их. Сто раз продумает каждую операцию. Для каждого случая отберет самых подходящих. И обязательно сама пойдет. Моей дочке скоро двенадцать. В Бийске она с женой. Так знаешь, о чем я мечтаю? Чтобы моя Вера стала такой, как Марина. А еще образованная она. На фронт ушла после первого курса филологического факультета университета. Сразу же, как исполнилось ей восемнадцать лет. А тебе сколько?

- Девятнадцать.

- Она на год старше. Славная она. Но вот начальник раз-

ведки мстит ей. Я уже в нарушение устава обращался к генералу. Но и он ничего не может. Где-то у этого гада сильная рука. А ведь Марину знают не только в дивизии... Жаль, не хочется мне ее будить...

- Что вы, товарищ капитан! Конечно, не надо. Я еще обязательно приду.

- Приходи, приходи. Ты и нашим разведчикам понравился. Рассказывали, как ты ей в бою руку поцеловал.

- Так уж и в бою, - смутился лейтенант.

Пришел он на следующий день. Надеялся на то, что его не поднимут на смех за три георгина, которыми снабдил его Ванюшка Паньков. Военфельдшер знал, что лейтенант собирается к Марине, и утром возле полевого госпиталя, километрах в двадцати от их расположения, в разбитой теплице срезал три последних неувядших красных георгина.

Он вошел в уже знакомое хозяйственное строение большого юнкерского имения, в котором разместились рота разведки. Марина поднялась навстречу. Неуверенно, словно совершая нечто недозволенное, он вручил ей георгины. Марина приподнялась на цыпочках и поцеловала его в щеку. Разведчики, не спускавшие с них глаз, зааплодировали. Кто-то из них сказал:

- Ну, брат, а мы уже думали, что наш командир не способна на такое... Вы, лейтенант, нас тогда здорово выручили, когда взяли тот фольварк. Мы уже двое суток от голода припухали в роще. А высунуться не было никакой возможности.

Трудно сказать, кто был больше смущен - лейтенант или Марина.

- Тот танк вы здорово долбанули. Командир сказала, что вы еще две "пантеры" в тот день уничтожили.

Его удивило, что и это стало ей известно. По одному с небольшими промежутками разведчики покидали комнату. Иногда просто так. Иногда появлялся предлог. Иногда ушедший раньше вызывал очередного. Вскоре они остались одни в пустом помещении.

- Капитан сказал, что вы учились на филологическом факультете.

- Было такое. Но уже прошла целая вечность. Иногда вообще не верится, что была мирная жизнь и университет, и любимая поэзия. Иногда кажется, что в мире нет ничего, кроме смертельной опасности, грязи, матерщины, хотя мои ребята щадят меня и в моем присутствии стараются не сквернословить. Но как удержишься? Я их понимаю. Иногда мне тоже хочется матюгнуться. А вы, я понимаю, после десятого класса попали в танковое училище?

- Нет. После второго ранения. А в десятом классе мне не пришлось учиться. Ушел на фронт после девятого.

Наползали сумерки. Выяснилось, что оба они любят Лермонтова. Марина называла еще поэтов, имена которых он слышал впервые. Бальмонт. Брюсов. Гумилев. Северянин. А потом не только русских. И стихи у них, оказывается, замечательные. Ему не хотелось уходить. Но он предупредил командира роты, что вернется к семи. Видно было, что и Марине не хочется расставаться с ним. Она доложила своему капитану и пошла проводить гостя. Прошли они около километра до старой липовой аллеи. Потом он пытался вспомнить, о чем они говорили. Но в сознании запечатлелись не слова, не темы, а ощущение теплоты. Они

остановились у старого черного дуба. Листья уже опали. Мокрые ветки клонились к земле. Ему показалось, что ей холодно в ее шинели и пилотке. Ему захотелось прижать ее к себе. Даже поцеловать. Но он не смел. Откуда было ему знать, что именно этого она ждала? Ждала и удивлялась, что способна на такое.

Они договорились о встрече. Марина подала ему руку. Он пожал ее, как пожал бы товарищу по батальону.

Так началась дружба двух командиров взводов - танкового и разведки.

В ноябре они встречались не реже двух раз в неделю. Иногда, придя к разведчикам, он не заставал ее. Взвод был на задании. Тогда, узнав о посещении, она приходила к танкистам. Но и это порой оказывалось безуспешным. Танки были то на стрельбах, то на тактических занятиях, то выезжали на рекогносцировку. Можно было бы подождать их возвращения, а кто знает, сколько ждать. Командир взвода разведки не располагал неограниченным временем. Но до чего же радостными были их встречи! Беседы. Стихи. Трудно объяснить, почему разведчики приняли такие отношения двух командиров взводов как должное. Другое дело танкисты. И экипаж, и офицеры батальона считали платоническую любовь противоестественной, с нетерпением ждали развития, подзуживая лейтенанта, и улыбались, видя, как это злит его.

- Ну, чего ты мудохеешься? - сказал как-то командир роты. - Ты что, не понимаешь, что она хочет, чтобы ты ее?

Один только начальник боепитания батальона, старый капитан Бушуев, - недавно выпивали по поводу его сорокалетия, - сердечно комментировал их дружбу. Он даже объяснил лейтенанту, почему к Марине так относятся ее разведчики - синдром Орлеанской девы. Лейтенант, конечно, знал, кто такая Орлеанская дева, но не понимал, о каком синдроме идет речь.

- Понимаешь, в грязи войны необычная смелая девушка, сохраняющая чистоту, девственность, воспринимается как не от мира сего, как святая, как чудо. Постоянная опасность, страх. А тут рядом святая. Хранит их. Да ты и сам рассказывал, как она бережет своих подчиненных. Вот они и боготворят ее. А вообще Марина - это удивительный человек. Тебя можно поздравить с тем, что досталась такая подруга.

В один из дней конца ноября вскоре после полудня в проливной дождь он пришел к разведчикам. Пять километров по липкой грязи. Плащ-палатка поверх шинели. Вымок весь и внутри и снаружи. Но предвкушение встречи с Мариной скрасило дорогу. Капитан, командир роты разведки, встретил его приветливо, как и обычно. Но, казалось, к приветливости прибавился еще какой-то нюанс, какая-то удовлетворенность, чуть ли не радость.

- Понимаешь, Марину чего-то вызвал майор, начальник разведки. Я тебе уже говорил, что сволочь он большая. И чего это вызывать командира взвода через мою голову?

- Где это?

- Видишь господский дом?

Он поднялся по трем ступенькам и вошел в широкий коридор. Четыре запертые двери. Из-за одной доносился крик, обильно насыщенный матом.

- Мне дать отказываешься! Не подходит тебе пехота! С танкистом е...ся!

Он рывком распахнул дверь. Увидел майора лет тридцати, увешанного орденами. Марина вытянулась перед ним по стойке смирно. Лейтенант слегка отстранил Марину, явно, как и майор, удивившись его появлению, и всего себя вложил в удар. Майор упал на спину, не согнувшись ни в одном суставе. Из носа обильно полилась кровь. Марина взяла лейтенанта под руку, пытаясь успокоить его.

- Ну, зачем ты? Это же обычные взаимоотношения начальника и подчиненного. Помоги ему подняться.

- Значит так, лейтенант... Штрафным батальоном ты у меня не отделаешься. Обещаю тебе высшую меру!

Марина удержала руку, готовую повторить удар. Уже потом, вспоминая это, он понял, как такая маленькая девушка смогла вытащить его из горящего танка. Они вышли из комнаты, из дома. Рассказали капитану о происшедшем.

- Я же предупреждал, что это сволочь. И генерал с ним чикается, хотя уже не раз убеждался в том, какая это гнида. Ты доложишь своему командованию?

- Конечно.

Вместе с командиром своей роты он обратился к командиру батальона. Тот, обложив его матом, повел их к командиру бригады. Гвардии полковник спокойно выслушал взволнованный рассказ одного из лучших своих командиров взводов.

- Говоришь, начальник разведки 184-й стрелковой дивизии? Знаю, знаю. У генерала тоже не все просто с этой блядиной. Но, кажется, есть вариант. Блядина - шурин очень высокой особы. Если до особы дойдет слух о том, что муж его сестры на фронте блядет, и за это получает орден, то шуряку можно не позавидовать. Короче, в таком плане я побеседую с генералом. Думаю, он поблагодарит меня за то, что сможет избавиться от этой личности. Иди, лейтенант, и, хотя ты гвардейский офицер, в будущем не вызывай никого на дуэль. Нет у нас сейчас дуэлей. А субординация есть.

Действительно, все обошлось без последствий, если не считать того, что Марину не наградили орденом, к которому она была представлена.

В декабре фронт перешел на зимнее обмундирование. Начались снега. Свидания с Мариной стали редкими. Разведчики почти круглосуточно были на заданиях. Да и у танкистов поубавилось свободного времени. По всему было заметно, что скоро закончится стояние в обороне.

Но отпраздновать Новый год решили по-царски. В самом большом зале имения, в котором располагалась рота танкистов, во всю длину соорудили стол и скамейки. Старшина привез откуда-то несколько сервизов, хрустальные рюмки, бокалы и фужеры. В жизни своей они не видели такой роскоши. Все-таки Германия. Батальонный повар приготовил закуски. Лейтенант пригласил Марину. Капитан, командир роты разведки, отпустил ее до утра. В десять часов вечера сели за стол. Марина слева. Справа экипаж его танка. Напротив экипаж второго танка его взвода. Между ними на столе два одинаковых изящных хрустальных графина. В одном спирт, во втором вода. Половину рюмки Марины он наполнил спиртом и долил водой из второго графина. Себе и экипажу налил чистый спирт. Командир роты произнес тост за уходящий год, за победу. Выпили. И вдруг Марина буквально перестала дышать. Лейтенант ис-

пугался. Решил, что ошибся и вместо воды долил в рюмку из графина со спиртом. Схватил графин с водой и плеснул в фужер. Марина надпила и чуть не потеряла сознание. Оказалось, какая-то сволочь, чтобы сподобить Марину, подменила графин с водой графином со спиртом. До двенадцати часов он не дал ей ни капли спиртного. А в двенадцать выпили за год окончательной победы. И тут началось! Все выскочили на морозный воздух и начали стрелять из всех видов оружия. Ребята притащили ракетницы со всем запасом ракет. Орудия открыли спонтанный огонь. Настоящая артиллерийская подготовка. Салют такой, что куда там московскому - двадцать залпов из каких-то сотен орудий. Все обошлось без наказаний. Списали на предсказание победы.

Застолье закончилось где-то в начале второго ночи. Лейтенант устроил Марину на кровати в своей каморке и пошел искать место для ночлега. Но места нигде не оказалось. Танкисты, утаив от него, заранее договорились об этом. Марина, поняв, что ему негде спать, велела остаться с ней в его комнатухе. На пороге, у подножья кровати, он расстелил шинели, свою и Марины. Он скорее догадывался, чем видел, как Марина сняла гимнастерку и ватные брюки. На своем ложе он разместился, не раздеваясь. Но и одетого его донимал холод, проникавший в щель под дверь.

- Иди сюда, - сказала Марина.

Он разделся быстрее, чем в училище после отбоя, и лег рядом с Мариной. Господи! Какая она нежная! Впервые в жизни он лежал рядом с женщиной. Дина Мирзоева не в счет. Тогда в течение какого-то мгновения это была животная вспышка страсти. А сейчас они обнимали друг друга, сейчас поцелуи были символами любви, любви такой, о какой он только в книгах читал. Но вдруг... Вдруг все стало таким, как тогда с Диной Мирзоевой. Небывалую нежность подавила неподвластная страсть. Марина ощутила ее физически. Она разжала объятие и вдавилась в стенку на краю кровати. Он почувствовал, он понял, что должен остановиться. Но как? Никогда еще это изумительное, это проклятое желание не достигало такой силы. Марина превратилась в базальтовую глыбу. Он встал и как был раздетым вышел наружу. Снег искрился под большими звездами и редкими вспышками ракет. Он пришел в себя, почувствовав, что замерзает. В комнатухе он снова лег на полу, на шинели.

Утром, когда башнер принес им в котелках завтрак, он пытался вспомнить, уснули ли они хотя бы немного.

После завтрака он пошел провожать Марину. Началась метель. Порывы западного ветра засыпали их снегом. Идти было тяжело. Валенки утопали в сугробах.

- Ты сердись на меня, родной? - спросила Марина.

- Какое у меня право сердиться. Никогда в жизни я не забуду, что ты не только мой спаситель, но и любимая девушка.

- Родной мой, я так тебя хотела! Может быть, еще больше, чем ты меня. Но я боялась.

- Боялась? Чего?

- Мы с тобой еще такие неумелые. Боялась забеременеть. Хотя и это было бы для меня счастьем. Но не сейчас. Ты же знаешь, как забеременевших медичек, связисток

и прочих отправляют в тыл. Забеременеть сейчас - значит покинуть фронт. Оставить своих разведчиков. Это дезертирство.

До самого штаба дивизии они говорили о любви, о счастье, о будущем... Но будущее началось уже через несколько часов...

Сразу же после возвращения Марины в подразделение вся рота пошла на задание. Дважды лейтенант приходил к Марине и дважды не застал ни ее, ни кого-либо из разведчиков. В третий раз старшина роты, единственный, кого он нашел, сообщил по большому секрету, что все на заданиях, а отделение, отобранное Мариной, сегодня надолго ушло в немецкий тыл. Так. Понятно. Готовится наступление.

Вечером этого дня бригада вышла на выжидательную позицию. А утром началось зимнее наступление. Танки вступили в бой после двухчасовой артиллерийской подготовки, в которой на их двухкилометровом участке прорыва было пятьсот орудий, не считая "катюш" и минометов. Но лишь на пятый день наступления бригада выполнили задачу первого дня. А на шестой, когда уже приближались сумерки, четыре уцелевших танка его роты остановились за длинной кирпичной конюшней. Из соседнего фольварка к ним приближались пять солдат в белых маскхалатах. Впереди как колобок катилась Марина в шапке-ушанке и белом маскхалате поверх ватника, ватных брюк и валенок. Он побежал навстречу, обнял Марину, за руку поздоровался с разведчиками. Каждого из них он уже давно знал по имени.

- Такая маленькая группа? Всего лишь пять человек?

- Из одиннадцати, - ответила Марина. - Четыре погибли. В том числе и твой любимец. Старик, как ты называл его. Двое ранены. Один - тяжело. Их уже забрали в санбат.

С Мариной они уединились в конюшне, забравшись в широкие деревянные ясли. Сняв перчатки, они держались за руки. Он удивился, когда Марина поздравила его с назначением командиром роты. Как она узнала об этом? Он забыл спросить ее. И вообще говорить не хотелось. Придавленные тяжестью потерь, они лишь касались друг друга.

Темнело. На мотоцикле прикатил адъютант. Сейчас будет очередной приказ. Капитан ждал у входа, пока лейтенант прощался с Мариной и разведчиками.

Прошло еще двое суток и ночь. Остатки бригады перебросили на другое направление. Он ничего не знал о Марине. А утром третьего дня - не все же везенье! - танк подбили. Хорошо хоть, что машина не загорелась. Тяжело раненого его увозили все дальше и дальше в тыл.

Первое письмо от Марины пришло почти через месяц после ранения. Треугольник был отправлен уже на следующий день. До чего же теплым было это письмо! И все последующие. И то, которое библиотечка принесла в палату в начале апреля, когда даже водка уже была приготовлена, чтобы выпить в день Победы. В письме, согретом любовью, только одна строчка была густо замазана военной цензурой. Он тщетно пытался отгадать, что могло быть в этой строчке. А еще в то утро сестра дала ему костыли и разрешила впервые выйти в коридор. И тут произошло чудо. Навстречу, тоже на костылях, без правой ноги выше колена переваливался капитан, командир роты разведки.

- Это же надо! Ты в какой палате?
- Во второй. А вы?
- В третьей. Ну, знаешь, такого просто не может быть! И давно ты здесь?

- Месяца два, наверно. Точно не знаю. Сперва я все время был без сознания. А вы?

- А я месяц. Ранен двадцать первого февраля. Медсанбат. Полевой госпиталь. Санитарный поезд. А здесь уже месяц. Эх, кабы знал, что и ты здесь!

- Надо же такие совпадения! А я только что получил письмо от Марины, написанное двадцать первого февраля.

Капитан не ответил. Лейтенант увидел, как у него заходил кадык.

- Двадцать первого... Я видел, как она писала это письмо, как складывала его, как оставила старшине. А через полчаса мы ушли на задание. Вот и все...

- Что - все?

- Все! Видишь, я без ноги... Но главное - нет Марины.

Он не помнил, как прошел несколько метров до своей палаты, как очутился на койке... Рядом с ним сел капитан. Молчали. Кто-то, ни о чем не спрашивая, достал из тайника поллитровку и налил им по стакану водки. Потом капитана перевели в его палату и поместили на койке справа, а лейтенанта, занимавшего эту койку, перевели в третью палату.

Однажды капитан рассказал, что Марина относилась к нему, как к отцу родному. Не было у нее тайн от него. Даже о ночи встречи Нового года она рассказала своему командиру роты без утайки. Тогда он ничего не сказал ей. Ни похвалы, ни порицания. А теперь сказал бы. Бедная девочка, ты, которая сделала столько, сколько не каждому сильному и смелому мужику под силу, не испытала ты счастья, которое полагается по штату каждой женщине. Боялась забеременеть. Дезертирство... Уж лучше бы такое дезертирство. К тому же, кто бы увидел беременность за месяц и двадцать дней, которые оставались в твоей жизни? Эх, Марина, Марина. До самой выписки капитана из госпиталя они были вместе. Потом...

Но потом уже не было Марины.

Мыльный пузырь

Когда затихали бои, старшина приносил нам смену чистого белья. В живых оставались немногие. И белья было немного. Всего лишь один узел.

Первый банный день после боев, как омовение покойника. Ни шуток. Ни смеха. Вид крепкого мужского тела был сейчас неприятен, даже страшен. Слишком много таких тел, изувеченных и обгорелых, видели мы еще вчера. А кто завтра? Он? Ты? Быстрее спрятать пугающую наготу.

Я надеваю белье и успокаиваюсь. Не потому ли, что от него пахнет чем-то очень знакомым?

Приятная свежесть. Мыло. Горячий утюг. Запахи родного дома. Так пахнут теплые руки мамы. Как это все далеко и неправдоподобно. Может быть, кроме войны, вообще ничего не существует?

Я никогда не задумывался над тем, кто на войне стирает белье. Старшина приносил его - и ладно.

Как-то перед боем я впервые увидел необычное подразделение незнакомого тыла.

Мы ехали по тесной просеке. Ржавые сосны нехотя наступали перед танками. Небо, как застиранная гимнастерка. Тяжелая тоска марша в предвидении боя.

На опушке, над серой речушкой приютились потрепанные палатки. Старая хвоя маскировала двуколки и камеры для дезинфекции. А между соснами на веревках белье. Наверно, все существующее на свете белье вывесили на этой истерзанной снарядами опушке.

Девушки в гимнастерках с закатанными рукавами оглянулись на шум танков, помахали нам вслед и продолжали полоскать.

Солнце на мгновение выглянуло из-за туч. Нежные радуги вспыхнули в гряде грязной мыльной пены на берегу.

Меня потрясла несовместимость увиденного: мирно развешанное белье и предстоящий бой; тонкая девушка со светлыми волосами, с добрым свечением спокойных карих глаз и узел, который она с трудом волокла к дезинфекционной камере.

Какая-то неведомая струна тоскливо зазвенела в моем сердце.

Как и обычно во время марша, я сидел на левом надкрылке. Я увидел, как в усталых глазах механика-водителя сверкнула улыбка. Он что-то крикнул мне. Я не расслышал и наклонился поближе к люку. Механик показал большим пальцем за спину и снова крикнул:

- Мыльный пузырь, говорю!

Я тоже улыбнулся в ответ. Просто так. Потому, что он мой друг, не только мой подчиненный.

О чем это он? Что заставило его улыбнуться? Прозрачная радуга над грязной пеной? Воспоминания?

... мыльница с мутной водой на доньшке. Ветерок осторожно снимает с конца трубки эфемерный радужный шар. Он летит и светится. И мир сквозь него такой сказочный и красивый. Он летит и вдруг соприкасается с несказочным миром. И взрывается. И нет беззащитной колеблющейся оболочки. Только маленькое влажное пятнышко, как случайная слеза. Но в мыльнице еще есть пена. И снова окунается в нее бумажная трубка. И нет конца волшебству...

Не это ли засветило улыбку в измученных глазах моего механика-водителя? Он всего лишь на два года старше меня. Чуть ли не от мыльных пузырей мы пришли на войну.

Я поворачиваюсь назад. Плотная туча погасила солнце. Лес убегает все дальше и дальше. Танки взвихрили густую пыль. Но мне кажется, что я различаю там что-то очень красивое - нежную радугу... или добрые глаза светловолосой девушки.

Я познакомился с ней поздней осенью. Уже не было в живых моего механика-водителя. И многих не было.

- Сходим сегодня в мыльный пузырь, лейтенант? - спросил меня командир второй роты.

Не знаю, действительно ли недоумение сделало мое лицо таким забавным, но офицеры смеялись долго и дружно. Вот когда я впервые узнал, что "мыльным пузырем" на фронте называли подразделения для стирки белья.

"Мыльный пузырь" располагался по соседству с нами. Мы пошли туда вечером. До передовой было одиннадцать километров. Но мертвое свечение ракет лежало на осыпающихся брустверах траншей, на воронках с водой, на наших шутках.

Гостеприимно распахнулись двери просторной юнкерской усадьбы. Настоянный на мыле воздух, как матовый плафон, смягчал живой и веселый свет коптилок. Капитан не всегда попадал на нужную клавишу. Аккордеон ошибался и смущенно поблескивал перламутром.

Я сразу узнал ее. Куцая гимнастерка любовно окутывала ее тонкую фигуру. Светлые мягкие волосы спадали на солдатские погоны.

Никогда еще танцы не доставляли мне большей радости. В тот вечер я был только с ней. Робость сковала мои суставы. Нет, я не научился танцевать. В бригаде мы иногда танцевали друг с другом. Мы были молоды и танцевали, несмотря на бои и потери. И сейчас в моих осторожных ладонях был солдат.

Но случайно я ощутил на спине пуговицы под гимнастеркой. Тяжелая волна захлестнула меня. Шел четвертый год фронтовой жизни.

Она смотрела на меня спокойными и добрыми глазами. Золотистые лучи разбегались от зрачков. И вся она до кончиков сапог была светлая и чистая.

Вечер пронесся, как добрый сон, когда не помнишь, что приснилось, но радостное состояние долго не покидает тебя.

Расстались мы уже далеко за полночь. Она крепко пожала мою руку и очень тихо сказала:

- Спасибо.

Всю дорогу и потом я думал о ней и о том, что услышал.

За что спасибо, славный Мыльный пузырь? Не за то ли, что я промолчал почти весь вечер? Или за радость, которой я еще не знал? Или за то, что я старался не замечать, как в зале становилось все меньше танцующих, как из боковых дверей осторожно появлялись расслабленные и слегка смущенные пары?

Мы стали там частыми гостями. Я уже знал, что светловолосая девушка ушла на фронт с первого курса университета. Она мечтала о подвиге. Но были горы грязного белья, и огрубевшие маленькие руки, и гордая чистота.

"Мыльный пузырь"... Почему так называли это подразделение? Может быть потому, что для солдата оно было мимолетным, недолговечным?

"Мыльный пузырь"...

Я не хотел видеть двусмысленных улыбок моих друзей. Не замечал грязи во всех ее проявлениях. Для меня это был радужный мыльный пузырь моего детства - красивый, как ее улыбка.

Был обычный вечер. Мы сидели и смотрели на танцующих. В моей руке приютилась маленькая шершавая ладонь светловолосой девушки. Она осторожно перебирала мои пальцы. Коптилки мерцали в такт вальсу. Капитан зажал в углу рта папиросу и щурил глаза. Папироса мешала ему играть.

Внезапно умолк аккордеон. Капитан широко раскрыл глаза и прислушался. Танцевавшие остановились.

Мы услышали ревущие моторы танков. Нас звали.

Я не помню прощания. Мы мчались под кровавыми тучами. Моросил отвратительный прусский дождик. Липкая глина хватала нас за ноги. Мы перепрыгивали через траншеи. Мы спотыкались на брустверах и падали. Над передовой полыхало пламя.

Я вскочил в башню и надел танкошлем.
Дорогой мой Мыльный пузырь...

В тылу батальона

Нередко чувствую себя не в своей тарелке, когда мне, как специалисту, задают вопросы о войне. Специалисту... Еще бы! Я ведь воевал. Но могут ли мои знания о войне, - о глобальном событии, - отличаться от знаний молодого человека, не слышавшего ни единого выстрела, но почерпнувшего сведения из тех же источников, из которых черпал их я? Возможно, отношение к этим сведениям у меня будет несколько более скептическим. И только.

Сразу после войны появилась лейтенантская литература. Так пренебрежительно называли ее верноподданные критики. Еще бы! Лейтенанты почему-то описывали не только доблесть и героизм, но и страшные будни, вызывавшие у читателей ненужные вопросы и еретические чувства. Что не совмещалось с генеральным курсом родной партии и не менее родного правительства. Больше того, это могло вызвать, упаси Господь, сомнение в правильности этого самого курса. Конечно, бдительная цензура тщательно просеивала идущее в печать. Но даже приглаженное и отлакированное следовало на всякий случай подвергнуть уничтожающей критике.

Лейтенантов обвиняли в том, что из своего окопа они не видели всего легендарного немислимого подвига советского народа. Удивляюсь, почему критики не додумались обвинить младшего офицера Л.Н.Толстого за то, что об осаде Севастополя он не написал "Войну и мир".

Лейтенантская литература... Я тоже был лейтенантом. Окончил танковое училище, знаю организацию танковой бригады, не говоря уже о танковом батальоне. В батальоне две танковых роты. В каждой - три взвода. Во взводе - три танка. Десятый танк - командира роты. Итого в батальоне двадцать один танк. Двадцать первый - командира батальона.

А ведь были еще тыловые службы. Что я знаю о них? Стыдно признаться, почти ничего. Хотя провоевал в батальоне немислимо продолжительное для танкиста время - целых восемь месяцев. Обалдеть можно! Но очень узкое у меня, у лейтенанта, поле зрения.

И вот сейчас задумался и вспомнил некоторых наших тыловиков. У них тоже были погоны с танковыми эмблемами, но они к танкам и близко не подходили. Кое-кто из них уже присутствовал в моих опусах. Надеюсь, читатели не забросают меня гнилыми помидорами за то, что я слегка повторюсь. А профессиональных критиков не боюсь. Они вряд ли обратят на меня свое внимание.

Замкомбата по хозяйству

До этого случая с гвардии капитаном Барановским сталкиваться мне не приходилось. Если не считать, что, проходя мимо, отдавал честь старшему по званию. В ответном вскидывании его руки я необъяснимым образом ощущал доброжелательное к себе отношение. А еще, глядя на его мощную двухметроворостую фигуру, думал: есть какая-то высшая справедливость в том, что он не в экипаже. Ну, как такой объем поместился бы в танке?

А теперь о самом случае. Не знаю, как я выглядел, ког-

да выскочил из горящего танка. Но уже через мгновение увидел, как мой друг, Толя Сердечнев, метрах в тридцати впереди меня сигал без сапога на правой ноге. Выпрыгнул он из люка загоревшей машины, не на надкрылок, не на корпус, как обычно мы выбираемся из башни, а прямо на землю, с высоты почти два с половиной метра. Понимаете, выпрыгнул в одном сапоге. Только Толя высунулся из люка, как сидение, отскочив на сильных пружинах, прихватило правую ногу. Разумеется, когда удастся выбраться из горящих машин, нам не до деталей обмундирования. Но все же мало радости ковылять разутым в грязи под холодным осенним дождем.

В батальонном тылу Толя обратился к заместителю командира батальона по хозяйственной части. Тот объяснил, что у него сейчас, к сожалению, нет сапог для гвардии лейтенанта Сердечнева. Хотя гвардии лейтенант Сердечнев был сантиметров на двадцать короче гвардии капитана Барановского и килограммов на тридцать легче, но сапоги ему полагались сорок шестого размера. Только у него и у гвардии капитана в нашем батальоне был такой размер ноги.

Толя обернул ногу поверх портянок куском брезента и хромал по лужам в одном сапоге. Ежедневные обращения к замкомбату по хозяйству оставались без результатов. Многие оставшиеся в живых танкисты сочувственно смотрели, как Толя таскал налипшие на примитивную обувку килограммы прусской грязи.

Прошло не меньше недели. Толя был командиром танка в моем взводе. Я нес ответственность за своего подчиненного. Тем более в глубине души ощущал дикое неудобство оттого, что мы одного выпуска в училище и не на одинаковых командирских должностях. Толя, к тому же, был на десять лет старше меня.

Вот тогда состоялось мое первое столкновение с гвардии капитаном. Он занимал небольшой домик в юнкерском имении. С мирными жителями Восточной Пруссии мы еще не сталкивались, но представляли себе, как жили немцы в этих роскошных фольварках. Мы до войны так не жили.

Где-то сразу, по завершении обеда, я бодро зашел в его домик. Следует заметить, что после наступления в батальоне осталось считанное количество танкистов, а водка, по-видимому, еще поступала на полный штат батальона. Так что бодрость моя вполне объяснима.

Гвардии капитан Барановский раскинулся на широкой кровати посреди комнаты. Надо полагать, тоже солидно пообедал. Возможно, по причине этого самого обеда разговор я начал, забыв о субординации, не в особенно уважительной манере. Заплетающимся языком капитан указал мне на разницу в званиях. А я в той же тональности заявил ему, что если завтра гвардии лейтенант Сердечнев не получит сапоги, то сапоги мы снимем с гвардии капитана Барановского. Тут замкомбат стал что-то кричать по поводу военного трибунала, но я уже не слышал, стараясь на выходе не задеть косяки.

На следующий день мучительно пытался реконструировать в деталях общение с гвардии капитаном. Мне это удалось примерно в такой же последовательности, в какой излагаю сейчас. Без подробностей. Сапог Толя не полу-

чил. А тут еще ночной ливень продолжился холодным морозящим дождем. Глина раскисла так, что даже я в своих кирзовых говнодавах с трудом вытаскивал из нее ноги. Что уж говорить о Толином брезенте. Я рассказал ему о вчерашнем общении с капитаном. Толя назвал меня мальчишкой, забывшем о звании и положении. А когда я изложил желание осуществить вчерашнюю угрозу, он готов был меня избить.

Мы вдвоем слегка выпивали. Вдвоем. У нас не было экипажей. Из десяти офицеров нашего училищного выпуска в бригаде остались только он и я. По мере опорожнения кружек с немецким померанцевым шнапсом, Толя все больше склонялся к идее осуществления моего замечательного плана экспроприации сапог гвардии капитана. Еще в училище Толя знал о моих занятиях самбо помимо тяжелой атлетики. Но он сомневался, справимся ли мы вдвоем с Барановским.

Я пошел к гвардии старшему лейтенанту, командиру первой роты. Он тоже сидел над кружкой. Какое совпадение, тоже с немецким шнапсом. Конечно, наступление - всегда страшные потери. Но достался бы нам шнапс, если бы мы сидели в обороне? Сереге понравился мой план. И мы пошли за Толей.

Втроем ввалились в домик гвардии капитана Барановского. Надо же! Тот словно подготовился к нашему визиту. То есть лежал на кровати, на которую мы планировали его уложить. Задача упрощалась. Кружка, кажется пустая, стояла на тумбочке рядом с кроватью. Толя и Серега взнуздали гвардии капитана с двух сторон, а я приступил к стягиванию сапог. Это оказалось совсем непросто. Капитан брыкался, как мустанг. Пару раз мне здорово досталось, хотя ребята пытались обездвигить его ноги. Мы и представить себе не могли, что у гвардии капитана Барановского такой богатый матерный словарь. Он грозил нам трибуналом и обещал, что сам примет участие в исполнении высшей меры наказания.

Сапоги мы все же стащили и тут же поспешно покинули негостеприимный домик. Ко времени, когда протрезвели, гвардии лейтенант Анатолий Сердечнев фигурил в отличных яловых сапогах. Надо сказать, у лейтенантов такие сапоги не наблюдались.

И еще о протрезвлении. Честно говоря, хотя в глубине души мы считали себя приговоренными к смерти, пусть и с отсрочкой, и с некоторой опаской ждали завершения проведенной операции. Но ничего не случилось.

На следующий день гвардии капитан Барановский щеголял в новеньких яловых сапогах. Судя по всему, ни батальонный смерш, ни подленький заместитель командира батальона по политчасти о произошедшем в домике замкомбата по хозяйству ничего не знали. Факт. Иначе, ох какую вакханалию они устроили бы!

Что ни говорите, хоть гвардии капитан Барановский - интендант, а оказался порядочным человеком.

Овсяная каша

Еще один конфликт между заместителем командира батальона по хозяйственной части, гвардии капитаном Барановским и мной случился, как тяжело выражаются бюрократы, в начале декабря 1944 года. Второй и последний

мой конфликт с замкомбата по хозяйности. Хотя в отличие от первого, я не принимал в нем непосредственного участия. Но - командир взвода - я нес ответственность за действия трех моих экипажей, участие в конфликте принявших.

Помните, с чего начался бунт в кинофильме "Броненосец "Потемкин"? Матросы в мясе обнаружили червей. В каше, сваренной на обед батальону, червей, разумеется, не было. Более того, в котел для ста сорока - ста пятидесяти человек добавили одиннадцать банок отличной американской свиной тушенки. Будь это сразу после боев, на ингредиенты каши никто не обратил бы внимания. В запасе имелось немалое количество выпивки и закуски. Но осеннее наступление окончилось более месяца назад. Весь шнапс выпили, консервы съели. Даже от колбас, окороков и других богатств, а их в подвалах юнкерских хозяйств хватало, следа не осталось. Пользовались мы трофейными продуктами с чистой совестью. Ни одного мирного немца в приграничных районах Восточной Пруссии не обнаружили. А сами строения с глухой восточной стеной, с крохотными оконцами из тех самых подвалов у основания на уровне земли, из которых так удобно стрелять, для нас ничем не отличались от дотов.

Сразу после боев, когда у нас и без того имелось достаточно трофейного шнапса, старшина батальона как-то умудрился запастись водкой за счет боевых потерь. Но в тот конкретный день, кроме положенных ста граммов нам не досталось ни капли. А тут еще такое унижение - овсяная каша.

Забавнее всего, что взбунтовались не только несколько человек, выживших в осеннем наступлении, но и новички, прибывшие из запасных полков, с Урала. Как они, изголодавшиеся и истощенные, в первые дни нажились на еду! До выпученных глаз. До поносов. Еды больше чем вдоволь. Когда, пища готова была вывалиться из ушей, они, не доверяя сытости, подбирали неубранную брюкву и грызли. А тут, не бывшие в боях ни одной минуты, но уже пропитанные духом отдельной гвардейской танковой бригады, они ощутили себя фронтовой элитой, белой костью, достойной питаться, по меньшей мере, рябчиками в сметане. Откуда им было знать, что английские аристократы на завтрак едят эту самую овсяную кашу, причем не сдобренную обильно свиной тушенкой.

Это сейчас я так мудро и отстраненно от взвода выражаюсь. Тогда был солидарен со своими подчиненными. К котелку с кашей не прикоснулся. Не помню уже, кто из моего экипажа вместе с другими возмущенными танкистами понес котелки к дому, в котором размещался гвардии капитан Барановский. Оба окна его спальни залепили кашей добросовестно и старательно. Ни одного квадратного сантиметра стекла не оставили гвардии капитану для осмотра окружающего мира. Трудись представители не только моего взвода, не только нашей роты, но и танкисты первой роты. Говорили, что гвардии капитан Барановский вышел из своего жилища, молча наблюдал за созидательным процессом и даже вроде прослезился. Не знаю. Не видел.

Когда всех офицеров, от командиров машин до двух командиров рот вызвал командир батальона, я было подумал, что сейчас будет разнос за светомаскировку овсяной кашей. Но комбат подал команду взобраться в кузов уже

урчащего "студебеккера". Куда нас повезут, никто не имел представления. Надо, значит надо.

А чего удивляться? Был ли хоть один случай за всю войну, когда бы мне сказали, куда меня везут? Но уже примерно через минуту мы поняли, что едем по направлению к передовой. Действительно, "студебеккер" остановился в рощице километрах в полутора от переднего края.

- Товарищи офицеры, - сказал комбат, выбравшись из кабины, - у крайних деревьев начинается траншея. По ней мы пойдем на передовую. Возможно, там у меня не будет условий для инструктажа. От вас требуется внимательно оглядеть местность не только до переднего края противника, но и дальше, до самых фольварков. Внимательно оглядеть и запомнить. По одному - вперед.

Я спустился в траншею в первой пятерке. Комбат не прибавил ни слова. Но и без слов понятно, что именно здесь - направление главного удара наступления, которое, как и обычно, возглавит наша бригада. А траншея ничего себе! Не менее километра. Оказывается, это не просто слухи, что командующий фронтом генерал армии Черняховский бережет солдат.

Нельзя сказать, что продвижение по траншее было удобным. Зато безопасным. Даже пригибаться не приходилось. Мы уже почти подошли к окопам переднего края, когда пришлось прижаться к стенке, чтобы пропустить идущих навстречу французских летчиков. С некоторыми из них я, можно сказать, был знаком. Постараюсь позднее рассказать об этом знакомстве. Французы не просто были возбуждены. Возмущение выплескивалось из них чудовищным матом. Представить себе не мог, что многие из них, почти не зная русского языка, умеют так матюгаться.

При помощи жестов и мата они объяснили, что пехотинцы на передовой обедают, и потребовали, чтобы мы внимательно изучили их меню. Мимо меня прошел лейтенант Альбер. Мы крепко пожали друг другу руки. Он тоже матюгнулся и сказал: "Я даже представить себе такого не мог".

Итак, обед пехотинцев. На первое - вода, в которой плавало несколько ошметков капусты. На второе - капуста, смоченная водой. Многие солдаты ели без хлеба. Спросил пехотинца, сидевшего на дне траншеи и доедавшего капусту из котелка:

- Вам что же, хлеба не дали?

- Дали, товарищ лейтенант. Так то же утром было. Не утерпел. Больно все время кушать хотца.

Осмотр линии немецкой обороны до самых фольварков не доставил нам большого удовольствия. Немцы открыли огонь. Хорошо хоть снайпера не было у них. Командир первой роты смачно матюгнулся и сказал, что километровую траншею для безопасности прорыли, а обеспечить наблюдение с помощью стереотруб ума не хватило. Но я, почему-то не столько думал о безопасности, сколько об обеде пехотинцев, мерзнувших в траншее.

Смеркалось. Снежок, хоть и ленивый, не прибавил видимости. Комбат отдал команду возвращаться.

Почти у самого выхода из траншеи мы снова столкнулись с французами. В руках - буханки хлеба, консервы, концентраты. Надо было видеть, как танкисты облобызали летчиков! Вряд ли за всю войну кто-нибудь наблюдал та-

кие объятия между непонятно почему постоянно враждующими лётчиками и танкистами.

В батальон мы вернулись к ужину. Жрать хотелось невыносимо. Стреляющий пришел из кухни с полным котелком. Ребята позвали меня ужинать. Но я сказал, что нет аппетита и завалился спать. Капуста с водой в котелках солдат на переднем крае и овсяная каша со свиной тушенкой на стеклах окон гвардии капитана Барановского почти до утра не давали мне уснуть.

Замкомбата по политчасти

С гвардии майором Смирновым экипажи десяти прибывших с завода танков познакомились на следующий день. Перед боем. Заместитель командира батальона по политчасти прочитал нам дежурную молитву, объяснил, что мы должны быть мужественными, бесстрашными и, не щадя своей жизни, выполнить долг перед Родиной. И еще. И еще. Говорил он долго, нудно. Возможно, мне это только показалось. Перед ним командир батальона, гвардии майор Дорош, произнес только одну фразу: «Вы прибыли в прославленную Вторую отдельную гвардейскую танковую бригаду. Я уверен в том, что вы будете достойным пополнением». И все. Комбат показался мне обычным, как и все, сидящие в танках. А маленький кругленький гвардии майор Смирнов был таким учебно-показательным от надраенного иконостаса орденов до сверкающих шевровых сапожков, что мне стало стыдно за свой внешний вид.

Летнее наступление развивалось стремительно. Мы пересекли всю Белоруссию, Литву и добрались до немецкой границы. Младшего лейтенанта, меня, произвели в лейтенанта. Командир машины стал командиром танкового взвода. За все время почти непрерывных боев я ни разу не видел нашего так называемого "комиссара". Оно естественно. У него ведь нет танка, по должности не положен. Правда, нет танков у ремонтников, у батальонного фельдшера, у секретаря партийной организации батальона, но мы их видели, рядом ощущали их присутствие во время боя. А гвардии майора Смирнова не видели. И вообще, как бы он выглядел в бою в своих сверкающих шевровых сапожках? И вообще, чем он занимался?

Лицом к лицу столкнулся с ним при странных обстоятельствах.

После страшной ночи, когда мы потеряли много людей и машин, бригаду впервые после летнего наступления вывели из боя. Три танка - вот все, что осталось от батальона. Взвод. Меня назначили командиром этого взвода, разместившегося за массивным высоким каменным забором под старыми дикими грушами. Вдруг справа от нашей оборонительной полосы на артиллерийскую позицию стрелковой дивизии пошли тридцать "пантер". Полковые орудия с куцыми стволами почему-то были не прикрыты пехотой. Оказались впереди нее. Обычный фронтовой бардак.

Что могли сделать полковые пушки против лобовой брони "пантер"? Артиллеристы драпанули, оставив целенькие орудия. Трудно поверить, но верхом на тачанке, наверно на последней тачанке в Красной армии, их пытались нагайкой вернуть на место командир стрелковой дивизии генерал-майор Городовиков, брат легендарного еще с Гражданской Оки Городовикова. Безрезультатно. Пред-

ставляете себе тачанку в лесу между деревьями? К несчастью, генерал заметил нас. Примчался и, размазывая грязные слезы, стал упрашивать остановить танки. А мы уцелели после кромешной ночи. И нас вывели из боя. И появился шанс остаться в живых хотя бы до следующего наступления. И мы не в подчинении генерала. И "пантеры" атакуют не в нашей полосе обороны. Нет, я не могу описать, а вы все равно не поймете, как мне не хотелось вновь в огонь и полымя.

Не знаю почему, но я скомандовал: "К машинам! По местам! Огонь с места!" "Пантеры" почти поравнялись с нами, подставив борта. И мы стреляли в них, как на полигоне.

Взвод уничтожил восемнадцать "пантер". Дальние, поняв, что стреляют из фольварка, развернулись вправо под прямым углом и открыли огонь в нашем направлении. Но над мощной каменной стеной возвышались только башни тридцатьчетверок, прицелиться в которые или даже увидеть, мешали дымы горящих "пантер", да и расстояние до нас было немаленьким. Кроме того, немцы подставили свои относительно слабые бока полковым пушкам: к ним вернулись артиллеристы.

После боя, когда я гарцевал на захваченной целенькой "пантере", снова появился генерал Городовиков. С ним и комбриг с комбатом. Оба рассказали генералу о моем участии в ночном бою. Генерал облобызал меня и сказал, что не мое, не танковое начальство наградит меня, а он лично представит к званию Героя. Короче, если еще учесть, что мы солидно выпили, то эйфорическое состояние девятнадцатилетнего мальчишки легко представить себе.

Вдруг из штаба батальона прибежал писарь (он почему-то очень хорошо относился ко мне) и, перебивая самого себя, рассказал, что на двух "доджах" в Смоленск готовятся отправиться пришедшие в бригаду из белорусских лесов партизаны. За партизанскими медалями отправятся. Почему в Смоленск, почему не наградят на месте, не объяснил. Но главное - в Смоленске семья гвардии майора Смирнова. И тот сооружает семье посылки. "А в один из ящиков, товарищ гвардии лейтенант, он положил вашу гармошку".

Мою гармошку. Где-то за Вильнюсом десантники подарили мне трофейную гармошку красоты необыкновенной. Золотисто-лунные перламутровые бока. Перламутровые кнопки. Да, как говорится, не в коня корм. Играть ни на одном инструменте, включая гармошку, я не умел. Пиликали на ней желающие. Запасные баки с горючим перед боем мы снимали. А завернутая в брезент гармошка оставалась на корме танка. Только перед форсированием Немана оставил ее в батальоне. И вот, на тебе.

Я знал, как тяжело, как голодно живут люди в тылу. Попроси у меня гвардии майор, я бы ему не только гармошку, я бы шкуру свою отдал. Но без разрешения, не посчитав меня человеком, забрать мою гармошку! И кто? Учебно-показательный, перед боем униживший нас молитвой: мол, героизм, мол, верность долгу, мать его... Это он нам о долге! У Борьки, командира двадцать седьмой машины, в Смоленске мать и маленькая сестричка остались. Они еще не знают, что их Борька сегодня ночью сгорел вон на том лугу в своей двадцать седьмой. Или им он пошлет гармошку?

Так, задыхаясь от обиды, я думал, когда бежал к штабу

бригады. Все ему сейчас скажу! Но, ворвавшись в дом, ничего не сказал. Онемел.

В женское платье гвардии майор тщательно укутывал деревянную кофейную мельницу. Вы представляете себе абсурд? В голодный Смоленск отправлять кофемолку! Возможно мне спяна привиделся заместитель командира батальона по политической части, увешанный непонятно за что полученными орденами, награбленные платья и нелепая кофемолка? Зачем в Смоленске кофемолка? Что ею молоть?

Я ничего не сказал. Я рывком вытащил из ящика гармошку. Отскочил ремешок. Перламутровые кнопки басов зацепились за багетную раму картины. Гармошка угрожающе зарычала.

- Немедленно положите гармошку! - зарычал гвардии майор.

- Это моя гармошка. Моя личная собственность, - с этими словами я вышел из дома и в хорошем темпе направился к фольварку, менее чем в километре от штаба, где стояли танки. Замкомбата по политчасти семенил за мной в своих шевровых сапожках, угрожая штрафным батальоном. Я подошел к своему танку. Положил гармошку перед гусеницей. Скомандовал механику-водителю: "Заводи!" Двумя руками поманил на себя. Брызнули лунные перламутровые осколки. Один из них упал на запыленный шевровый сапожок.

Это сейчас мне жалко красивой гармошки, которая могла бы принести пользу людям. Тогда я об этом не подумал.

А наш "комиссар" все-таки успел отомстить мне. Еще до того, как получив за летние бои очередной орден Краснознамени, он был во время осеннего наступления переведен заместителем командира тяжелотанкового полка по политчасти.

Техник-лейтенант

Не помню точно его фамилии. Вернее, не помню, где фамилия, а где кличка. Фамилия, кажется, Веревкин. Или Обрывкин. Так дразнили техника-лейтенанта. А может быть, наоборот. Но какое это имеет значение. Он не погиб. Он не был в экипаже. Нельзя забывать фамилий погибших. Помни, пока жив. Память - это единственный памятник им. Страна, за которую они погибли, на памятники поспешила. А техник-лейтенант, мой заместитель по технической части, не погиб.

Когда мы копали капонир для танка (семь метров длины, четыре метра ширины, чуть больше метра глубины, да еще аппарат не менее двух метров), техник-лейтенант внимательно наблюдал, как это у нас получается.

Тяжело получалось. Прусская глина не очень любила, чтоб ее копали. Но куда денешься? Надо! Хуже всего, когда едва успеешь спустить танк в капонир, раздается команда: "К машинам! По местам!" Оказывается, командование не там выбрало позицию для обороны. Ошиблось малость. Матюгнемся и едем выкапывать капонир в другом месте.

Техник-лейтенант наблюдает.

Я тоже лейтенант. К тому же командир техника-лейтенанта. Но я копал вместе со своим экипажем и не считал, что мои офицерские погоны потеряют из-за этого часть своего достоинства. Другое дело мой заместитель по тех-

нической части. Он ведь не в экипаже. У него ведь нет танка. Ему ведь не надо кому-нибудь помогать.

- Эй, Обрывкин! - кричу я ему из нашей углубляющейся могилы. - Помоги Сердечневу!

- В экипаже моего друга и подчиненного у механика-водителя болит правый локоть. Он копать не может. Плечью висит рука. На марше механик-водитель с трудом переключал передачу. Сердечнев велел ему положить лопату. Обрывкин или Веревкин исчезает. Я же не приказал ему, а всего лишь предложил. Не могу же я приказать офицеру копать капонир. Это дело добровольное.

Общаться с танкистами мне как-то проще, чем с тыловиками. С теми, кто не в экипаже. Не дозрел я, по-видимому, до настоящего командира роты.

Начфин

Это же надо! В течение шестидесяти пяти лет, перебирая в памяти людей тыла нашего батальона, подсчитывая количество личного состава, отвечая на вопросы интервьюеров о боях и походах, ни разу не подумал, что в штабе определенно должен был быть начфин.

Безусловно, существовал. После ранения в госпитале я получил присланную из батальона вкладную книжку с кучей денег. Все неполученные оклады, которые мне некому было пересылать. Премии за уничтоженные немецкие танки. Еще какие-то деньги.

Стоп! Вместе с вкладной книжкой я получил очень сердечное письмо с пожеланием быстрого выздоровления. Было письмо от комбата. А это другое, вместе с вкладной книжкой. Конечно, от начфина! Каким же именем оно было подписано? Ни звания, ни внешности, ну абсолютно ничего не помню. Не мог же я не общаться с ним. Ну, хоть один раз. Надо же...

Восемь месяцев пробыть в батальоне и не иметь представления о работниках штаба. Хотя, чему удивляться? Штаб батальона, располагавшийся, скажем, в пятистах метрах от танков в капонирах, был для нас далеким тылом.

Кого вообще мы знали в том тылу? Старшину... Повара... Кладовщика - фантастического скрягу, выдававшего офицерам дополнительный паек. А чем он еще занимался? Знали начальника боепитания, гвардии капитана, самого интеллигентного человека не только в нашем батальоне. Подобного ему за всю войну больше не встречал. Был еще замкомбата по политчасти, гвардии майор, на предыдущих страницах рассказал о нем, сволочь неопишная. Был секретарь партийной организации, порядочный и смелый гвардии старший лейтенант.

Батальонный фельдшер - особ статья. Его никак нельзя считать тыловиком. Дело не в том, что он лечил мои ожоги. Во время боя гвардии старший лейтенант медицинской службы всегда каким-то образом оказывался рядом с танками. И ремонтников по той же причине нельзя считать тыловиками.

Да, помнится, в начале белорусского наступления в батальоне появился гвардии капитан, заместитель командира батальона по строевой части. Но когда я возвратился в батальон после боев в Вильнюсе, он у нас уже не фигурировал. А потом, до самого моего ранения, вообще не было кого-нибудь на такой должности.

Начфин батальона... Возможно, на его вооружении на ходились счеты. Он ведь имел дело с цифрами. Например, за каждый немецкий танк или самоходку, уничтоженные моим экипажем, начфин начислял мне премию - пятьсот рублей. Финансы дело подотчетное. Точность и еще раз точность.

Вероятно, именно благодаря финансовым ведомостям в списке советских танковых асов точно указано количество уничтоженных мною немецких танков и самоходов. А об орудиях написано словом - "много". Сколько же это "много"? За уничтоженные орудия начфин не платил. Значит, по этому поводу не надо было щелкать костяшками на счетах.

У себя в тылу он не имел представления о том, что уничтожить орудие куда тяжелее, чем танк или самоходку. И тот, и другая - большие мишени. Когда они движутся, то видны на расстоянии, скажем, двух километров и даже дальше. А замаскированную противотанковую пушку разглядеть из фактически слепого танка удается по вспышке, когда она выстрелила по тебе. И надо успеть уничтожить ее, пока она не угостит тебя вторым снарядом. Потому что второй снаряд из противотанкового орудия - это уже точно твой.

Иногда бессонной ночью, когда в сознание нагло лезут картины, которые столько десятков лет мучительно хочется забыть, когда почему-то именно в животе отзывается удар болванки, к счастью только по касательной чиркнувшей по башне, а в глазах вспыхивают искры, как вспыхивает огонь в чиркнувшей зажигалке, ты видишь эту пушку или этот танк, в дуэли с которым на сей раз тебе посчастливилось выйти победителем. И снова сравниваешь, какая победа досталась тяжелее. И снова, и снова однозначная оценка: пушку уничтожить труднее.

Но начфину и составлявшим списки советских танковых асов, если у них случаются бессонные ночи, не приходится сравнивать дуэли танков с орудиями. Поэтому обходятся без подсчета орудий.

Французские летчики

Обещал рассказать о знакомстве с французскими летчиками. Так вот, четырнадцатого июля, на следующий день после освобождения Вильнюса, меня командировали, можно сказать, в распоряжение полка "Нормандия", который отмечал национальный праздник Франции.

Почему именно меня, всего лишь гвардии младшего лейтенанта, еще за шесть дней до того всего лишь командира танка, да и сейчас всего лишь командира взвода?

Объяснялось это, вероятно, тем, что французские летчики праздновали взятие Бастилии в день, когда наша бригада радовалась присвоению ей звания Вильнюсской. Правда, из восемнадцати танковых взводов бригады во взятии Вильнюса участвовал только мой взвод. Остальные семнадцать, переправившись через Березину, застряли в Белоруссии без горючего и боеприпасов. Но накануне вечером в Москве прогремел салют, разумеется, не в честь моего взвода, а в честь Второй отдельной гвардейской Витебско-Вильнюсской танковой бригады. А так как из воевавших в Вильнюсе офицеров в живых, кроме меня, не осталось никого, командование для укрепления

связи с взаимодействующим истребительным авиационным полком направило самую пахнущую порохом личность.

О существовании истребительного авиационного полка "Нормандия", о том, что он взаимодействует с нашей бригадой, я услышал только в пути. Узнал, что несколько десятков французских летчиков-добровольцев на Як-9 и несколько десятков французских техников вместе с нами отстаивают честь Франции.

За пять дней боев на улицах Вильнюса у меня не было времени посмотреть на небо. Таким образом, я не видел ни нашей, ни немецкой авиации.

Вез шофер "виллиса" комбрига. Он привел на красивую поляну в смешанном лесу, примыкавшем к взлетно-посадочной полосе. За длинным дощатым столом на скамейках сидело примерно пятьдесят-шестьдесят офицеров.

Как только я появился на поляне (шофер почему-то тут же испарился), ко мне направился невысокий подполковник. Я несколько опешил. Меня в бригаде не проинструктировали, кому доложить о прибытии, как доложить, как вести себя. Растерялся. Приложил только ладонь к дуге танкошлема. Но подполковник взял меня под руку и что-то очень быстро протараторил по-французски. Из всего я понял три слова: Вильно, лейтенант и Деген. Правда, Деген он почему-то произнес с ударением на втором слоге.

Офицеры, сидевшие за столом, заплодировали. После этого, я понял, он обратился к лейтенанту Альберу. Из-за стола вышел пожилой лейтенант, лет тридцати-тридцати пяти с золотой звездой Героя Советского Союза. Пожал мне руку и, не выпуская, повел к столу.

- Меня зовут Марсель. Я действительно из Марселя, - он довольно грамотно говорил по-русски. Но акцент заставлял расшифровывать некоторые слова. Имя Марсель я услышал четко. А вот то, что он из города Марселя - догадался.

Оказывается, место для меня было приготовлено рядом с более молодым лейтенантом, тоже Героем Советского Союза. Марсель сел справа.

- А твоего соседа зовут Ролан. Но он предпочитает обращение лейтенант де ля Пуап. И на вы, конечно. В отличие от меня, простого рабочего, он аристократ, дворянин.

Лейтенант Ролан де ля Пуап что-то буркнул Марселю и подал мне руку. Рукопожатие, несмотря на хрупкость лейтенанта, оказалось крепким.

На столе предо мной, как и перед другими, стоял граненый стакан, лежала ложка, вилка и нож. Боже мой! Ровно три года я не пользовался вилок! Не видел даже. А тут еще нож зачем-то! И вообще, мальчишка, ушедший на войну в шестнадцать лет из провинциальной глуши, вдруг рядом с аристократом. Мне и сейчас не по себе, когда я вспоминаю начало этого "взятия Бастилии".

Солдаты разнесли тарелки с луковым супом. Марсель плеснул из алюминиевого бачка водку в стаканы - мой, Ролана и свой. Подполковник во главе стола встал, поднял свой стакан и что-то говорил. Но недолго. Все подняли стаканы и стали пить. Ролан выпил полстакана и поставил на стол. Я последовал его примеру, хотя для меня это было несколько непривычно. У нас как-то не было принято ставить не пустую посуду. Но я решил копировать каждое

движение соседа слева, чтобы не выглядеть жлобом, каким, увы, действительно был.

Марсель поднял свой стакан. Я тоже. Чокнулись. То ли водка меня начала заводить, то ли, как выразился Маяковский, мне захотелось подсюсюкнуть аристократу де ля Пуапу, я сказал ему, что в детстве моим самым любимым писателем был Жюль Верн. А сейчас любимый герой - Кола Брюньон. Ролан одобрительно кивал. Я обрадовался, что достойно представляю свою страну перед капиталистом.

Принесли второе. Какое-то нежное мясо, грибы, кажется, лисички. Вкусно. У нас в батальоне таких блюд не бывало. Де ля Пуап взял в правую руку нож, в левую - вилку. Я тоже. Удобней было бы есть ложкой в правой руке. Тем более что она неразлучная, лежала в левом кармане моих брюк. Но... Марсель ел так же, как Ролан. Пришлось рубать по-французски. С Марселем мы выпили еще по полстакана. Еду я уплетал за обе щеки.

- Вкусно? - спросил Ролан.

- Очень! - ответил я с воодушевлением.

- А знаете, какое это мясо?

- Нет.

- Это лягушки.

Ох, как мне стало нехорошо! Но, наверно, никогда в жизни я не проявлял такой выдержки и стойкости, как в эти минуты. Наконец встал, и осторожно, чтобы сапогами не задеть ни одного Героя, перелез через скамейку и углубился в лес. Тут я, вероятно, нарушил закон сохранения материи. Рвотных масс оказалось больше моего собственного веса.

Подробности продолжения праздника можно пропустить. В бригаду я вернулся как раз к отбою, хотя еще довольно засветло.

Сейчас, когда слышу или читаю об отношении Франции к Израилю, я вспоминаю не только многовековый французский антисемитизм, но и то, как меня выворачивало наизнанку в литовском лесу 14 июля 1944 года. И почему-то символом Франции в эти минуты мне представляется не Марианна, не галльский петух, а Герой Советского Союза Ролан де ля Пуап.

Но, приобщенный к иудаизму, я подавляю в себе злобность, недостойную еврея, призванного служить примером человечности. На помощь мне приходит улыбающийся бывший марсельский рабочий Герой Советского Союза Марсель Альбер. Но главное - протискивающиеся мимо нас в траншее французские летчики с буханками хлеба, консервами и концентратом...

У нас в гарнизоне

Население военного городка знало два ориентира. Один из них - высота 237 с тригонометрической вышкой. Она фигурировала на всех топографических картах. Достаточно было офицеру прослужить в гарнизоне около месяца, чтобы его уже тошнило при упоминании высоты 237. Второй ориентир... Впрочем, на тактических занятиях капитан не уставал повторять, что ориентиром может служить только неподвижный предмет, привязанный к местности. Нельзя скомандовать "правее коровы два пальца", даже если корова стоит неподвижно.

- А если корова привязана к местности? - Спросил как-то младший лейтенант.

- Нельзя, - отчеканил капитан. Он знал это не потому, что недавно получил очередное звание и командовал танковой ротой. Истину эту он усвоил, еще будучи курсантом. В училище излагали только истины. А истина на то она и есть истина, чтобы ее знал и соблюдал каждый солдат.

И тем не менее вторым ориентиром был не неподвижный предмет, привязанный к местности, а Стёпа, вольнонаемная уборщица в штабе дивизии.

Если быть абсолютно точным, Стёпу нельзя считать ориентиром, хотя имя ее в гарнизоне упоминалось так же часто, как название высоты с тригонометрической вышкой. Даже чаще. Высота 237 была уделом только солдат и офицеров. Стёпино имя, кроме военнослужащих, склоняли их жены, их взрослеющие дети - мальчики, которых волновала красота и афишируемая доступность Стёпы, созревающие девочки, заинтригованные Стёпиной популярностью и плотной атмосферой запрещенного секса.

Жены не только склоняли Стёпино имя. Периодически они приходили в штаб поодиночке и целыми делегациями с требованием убрать отсюда эту развратную девку, соблазняющую их несчастных мужей. Однажды самому начальнику штаба пришлось вмешаться и вызволять Стёпу из рук трех взбесившихся фурий, пришедших сюда именно по этому деликатному поводу. Надо же, чтобы в тот самый момент, когда они явились с жалобой на своих мужей, заподозренных в преступной связи с этим исчадием ада, Стёпа вышла из кабинета начальника оперативного отдела. И, хотя в руках у нее была швабра и помойное ведро, а наряд на ней был далеко не царский - куцый, застиранный, в лучшие годы синий халат, ее соблазняющие прелести демонстрировались с вопиющей силой.

Первой ринулась в атаку подполковница, жена командира мотострелкового батальона. Ведра пергидроля извела она, чтобы оставаться блондинкой. А эта тварь - глянь, какие золотые волосы у нее, и блестят без всякого пергидроля, всего лишь чисто вымытые! Подполковница вцепилась в ненавистные тугие косы, уложенные сзади в тяжелый узел. Стёпа оборонялась пассивно, увертывалась, стараясь вырвать из рук фурии распустившиеся волосы. От этого она стала еще красивее. Взбешенные женщины колотили ее, царапали, пытались добраться до этих наглых больших глаз, таких зелено-коричневых, что даже на ярком свете казались черными. Пуговицы халатика расстегнулись. Обнажилось ослепительное тело. Озверевшие дамы взвыли. Бедные несчастные их мужья! Может ли устоять какой-нибудь самец при виде этого тела? Такая обида захлестнула их, что они рыдали и кричали, словно не Стёпе, а им доставались побои. Они ревели от обиды, что не у них, а у нее такое тело, такая красота. Ну как их подлым мужьям не поддаться соблазну, не поменять их, чистых, непорочных, на эту тварь? Надо же - такая девичья фигура после четырех родов. Офицеры выскочили из своих кабинетов, но их деликатное вмешательство, - все-таки женщины, - не могло остановить озверевших баб. На шум вышел генерал, начальник штаба. Именно в этот момент Стёпа угодила коленом в живот подполковницы. Та взвыла от боли и повалилась на пол. То ли этот

тактический успех, то ли погоны генерала, но баталия прекратилась.

Уже через несколько минут важнейшее в гарнизоне событие обсуждалось всем военным городком. Симпатии разделились. Большинство мужского населения почему-то было на стороне Стёпы. Все офицерские жены рвали, метали и жаждали крови этой потаскухи.

Впрочем, не все. У жены капитана, командира танковой роты были свои соображения и планы. Еще тогда, в Харькове, когда ее будущий муж был курсантом танкового училища, а она - студенткой культпросветтехникума, когда она отбила его у своры своих подруг, готовых распластаться под этим кобелем, она не обольщалась по поводу его способностей, не кобелиных, разумеется, а умственных. Но себе-то она знала цену. У нее сомнений не было в том, что со временем станет генеральшей, даже если не ему, а ей придется командовать танковыми подразделениями и закончить военную академию. Пока у нее не было оснований недооценить своих способностей. Даже материальную часть танка Т-62 она знала, пожалуй, лучше большинства офицеров, хотя ни разу не подходила вплотную к броне. Не разрешалось. Но ее кобель первым из их выпуска стал капитаном. Она не успокоилась и уже наметила пути к внеочередному получению звания майора. С этой стороны все было в порядке.

Другое не давало ей покоя. Они были женаты уже пять с лишним лет, а детей у них не было. И не могло быть. Еще в первые месяцы замужества, еще до того, как она показала гинекологу, у нее почти не было сомнения, кто в этом повинен. Подруга по техникуму скреблась после любви с ее кобелем. Правда, тогда он еще не был мужем. Она лишь собиралась отбить его у подружки. Но какое это имеет значение? Недаром он говорил, что семья у него как броневой снаряд. Несчастье в том, что она не была способна. Уже зная это после визита к гинекологу, она все же поехала в Москву к видному профессору, чтобы выслушать то же, что сказал ей рядовой врач: недоразвитая матка.

В кобеля она вцепилась мертвой хваткой. Править им было легко и удобно. Ее курс на карьеру пришелся ему по вкусу. И главное - он понимал, что без жены карьеры ему не сделать. Чтобы упрочить семью, он предложил ей усыновить ребенка. Так-то оно так. Но ее не устраивали банальные решения. Заглядывая далеко в будущее, она представляла себе возможные осложнения, когда идешь по пути наименьшего сопротивления. Нет, банальные решения не в ее натуре. В поисках оптимального варианта ее взгляд остановился на Стёпе.

Рассказывали, несколько лет назад неизвестно откуда в штабе появилась красавица-уборщица. Даже старшие офицеры, у которых в характеристиках на всех этапах прохождения службы значилась железная моральная устойчивость, ходили с оттопыренными штанами. Вскоре Стёпа забрюхатела. Осталось неясным, кто был в этом повинен. Отцов могло быть много. Ходили слухи, что там пасса даже сам генерал, начальник гарнизона. Говорили, что заместитель командира дивизии по хозяйству готов был бросить свою супругу и жениться на Стёпе, но она со смехом отвергла предложение своего высокого хозяина. Чего только не говорили. Говорили, что Стёпа родила здоровую кра-

сивую девочку, но даже отказалась взглянуть на нее. Так и выписалась из роддома, не увидев своего ребенка. В желающих удочерить младенца не было недостатка. Говорили, что, когда Стёпа снова забеременела, офицерские жены наперед предлагали деньги за ребенка. Это было вероятно, хотя и не совсем правдоподобно потому, что даже гарнизонные дамы ни разу не упрекнули Стёпу в любви за деньги. Говорили все же, что Стёпа продала трех своих младенцев еще на корню. Чего только не говорили.

Капитанша обмозговывала варианты. Иногда она почти была согласна на то, чтобы Стёпа забеременела от ее кобеля. Затем они заберут и усыновят, можно сказать, своего ребенка. Но, зная цену умственным способностям своего мужа, она все же не хотела, чтобы его истинные кобелиные способности разделила с ней другая женщина. Даже для такого святого дела.

Капитаншу поразила сверкающая чистота и уют крохотного Стёпиного жилища. А книг сколько! Трудно было представить себе, что подобное можно обнаружить внутри старой баньки, чудом уцелевшей во дворе еще в войну разрушенного дома.

Капитанша быстро поладила со Стёпой. Сложнее было договориться с врачом. Но, командуя танковой ротой с помощью своего кобеля и собираясь в будущем командовать дивизией, а может быть и корпусом, капитанша не пасовала перед трудностями.

Родильным отделением небольшой больнички заведовал молодой врач с двухлетним стажем. Еще не накопив врачебного опыта, он уже был сведущ во многих женских художествах. Но о таком он даже не подозревал. Капитанша с врожденной патологией - атрофичной маткой, беспелляционно заявила, что будет рожать одновременно со Стёпой.

- То есть как рожать?

- Да вот так, просто. Такое дело. Можно в палате. Можно в родильной комнате. Не важно. Главное - ребенок, которого родит Стёпа, должен быть записан, как рожденный мною.

- А Степанида?

- Стёпа согласна. Она будет скрывать беременность до самых родов. Следовательно, ей и рожать не надо.

- Но ведь это преступление!

- Перед кем? Стёпа своих детей не забирает из роддома. Хоть так, хоть этак я усыновлю ребенка. Перед кем же мы делаем преступление?

- Да, но все-таки... - молодой врач с недоумением смотрел на эту странную женщину. - Кроме того, персонал.

- Доктор, это не грех слегка сбрехать для такого дела. Вы никому не повредите. Никому не сделаете ничего нехорошего. А с персоналом я полажу.

Убедить врача ей все же удалось после долгих уговоров. Впервые она столкнулась с таким упрямым мужчиной.

Через месяц после того как они договорились, Стёпа оповестила ее, что забеременела. Капитанша заблаговременно снабдила ее просторным синим халатом взамен мими, из которого так явно выпирали все Стёпины прелести. Даже на последнем месяце беременность оставалась незамеченной. Зато все замечали демонстрируемую беременность капитанши. Конечно, рядовая законная жена офице-

ра в гарнизоне не была так популярна, как Стёпа. Пусть не весь военный городок обсуждал ее беременность. Но ближайшее окружение было осведомлено.

Наиболее заинтересованным оказался молодой врач-гинеколог. В студенческие годы он слышал о мнимой беременности. Он помнил увлекательный рассказ профессора, заведовавшего кафедрой акушерства и гинекологии, о том, как протекала и чем закончилась мнимая беременность болгарской царицы Драги. Обладая скептическим складом ума, студент с недоверием отнесся к этому красочному рассказу. На экзамене после четвертого курса и на государственном экзамене не было вопросов о мнимой беременности, и он забыл о царице Драге и прочих сказках, не имевших отношения к его нелегкой повседневной работе. И вот перед ним капитанша, гордо несущая свой выросший живот. Доктор был так ошарашен, что, прочно помня об атрофичной матке, все же уложил капитаншу на гинекологическое кресло. И только обследовав ее, он уверился в том, что беременностью здесь даже не пахнет. Вот тебе и сказки о царице Драге! Да, брат, многого ты еще не знаешь.

Полтора года назад, только начав работать в этой больничке, он принимал роды у Стёпы. Родила она легко и быстро. Все-таки четвертые роды. И даже необычная красота пациентки не задержала бы его больше обычного у стола, на котором она рожала. Но где видано подобное? Стёпа категорически отказалась взглянуть на младенца, крупную прелестную девочку.

Близился рассвет. Доктор устал смертельно и мечтал часок-другой вздремнуть до начала обычного рабочего дня. И все же ему было интересно выяснить причину странного поведения родильницы.

- Я знаю, что вы работаете уборщицей в штабе. Это как-то не соответствует интеллигентности, я бы даже сказал, аристократичности вашего лица.

Стёпа грустно улыбнулась и вдруг, резко повернув голову в сторону врача, сказала:

- Есть анекдот о четырех вариантах женского поведения: мужу ничего не показывают и не рассказывают, другу все рассказывают и ничего не показывают, любовнику все показывают, но ничего не рассказывают, и только гинекологу все показывают и всё рассказывают. Если учесть, что в течение многих лет у меня нет друга, то почему бы не рассказать гинекологу?

Доктору трудно было скрыть удивление. Он уже был наслышан о Стёпе. Возможно, поэтому его удивила грамотная речь и манера изложения, необычная для пациенток этой больницы.

- Вы обратили внимание на аристократичность моего лица. Да, вы правы. Это не вульгарная красавица. Странно, что условия и образ жизни трех поколений не стерли с лица этой ненужной печати. Видно, прочная штука наследственность.

Доктору показалось, что глаза этой странной женщины утонули в слезах. Нет, только показалось. Не было слез. Но такую вселенскую печаль излучали эти глаза, что ему самому захотелось заплакать.

- Моя бабушка - графиня из рода Разумовских и Толстых. Не тех Толстых, из рода которых Лев Николаевич, а

тех, которые дали свету Алексея Константиновича, одного из авторов Козьмы Пруtkова. Алексей Константинович был другом императора Александра Второго, что не мешало ему оставаться либералом значительно большим, нежели те, которые породили убийцу императора и тех, кто свершил революцию. У бабушки тоже были либеральные взгляды. Юная курсистка с радостью приняла новую власть, считая, что она возродит Россию. Но новой власти не понравилось аристократическое происхождение моей бабушки. После ужаса ареста она оказалась в ссылке на Северном Урале. Судьба свела ее с интеллигентным молодым человеком, внуком ссыльного польского офицера. Они родители моей несчастной мамы, которую уже после войны репрессировали неизвестно за что и сослали в Казахстан. Я даже не знаю, была ли она замужем. Я родилась в Алжире. Нет, нет, не в Африке. Так сокращенно называли Актюбинский лагерь жен изменников родины. В пятьдесят шестом году, когда началась реабилитация, бабушка разыскала меня, извлекла из детского дома. Мама и дедушки не было в живых. Я, к тому времени девятилетний ребенок, уже прошла один круг ада. Бабушка, почти лишенная средств к существованию, пыталась воспитать меня так, как воспитывалась сама. Она привила мне вкус к чтению, к хорошей литературе. Три счастливых года моей жизни. Единственных. После смерти бабушки я снова попала в детский дом. Мне исполнилось двенадцать лет. Я быстро созревала и взрослела. Уже в ту пору я возбуждала желание мальчишек. Но с ними было просто. Их можно было держать на расстоянии. Спустя два года меня принудил к сожительству директор детдома. Я быстро вошла во вкус. Мне стало его не хватать. Я жила двойной жизнью. Умом я отвергала все, что меня окружало, а тело мое жаждало любви. В семнадцать лет я покинула детдом. Скиталась по стране. Я отказывалась от замужества.

- Почему?

- Во мне опыт бабушки и мамы. Я бабочка-однодневка. Я живу настоящим и даже думать не хочу о будущем. После года скитаний я попала сюда. Здесь мне хорошо. Я нуждаюсь в сильных здоровых мужчинах. Здесь их хватает с избытком. Я могу выбирать. Не верьте слухам. Я не отбиваю мужей у их безупречных жен. Мои любовники - солдаты и молодые неженатые офицеры. Не скрою, иногда меня тянет и к пожилым мужчинам. Может быть, это воспоминание о директоре детского дома. Может быть, просто потребность в отцовской ласке, которую я не извела. Не знаю. Я могла бы стать состоятельной проституткой. Зачем? У меня нет будущего

Родильную комнату окутало молчание. Стёпа лежала на спине, глядя на потрескавшийся потолок. За дверью санитарки громыхали ведрами. Доктор проглотил комок в горле и спросил:

- А дети? Зачем вам нужны дети? Ведь это уже четвертые роды.

- Мне не нужны дети. Я вам уже объяснила. Мое тело живёт животной жизнью. Я не лишаю себя никаких удовольствий. Как кошка. А котят попадут к хорошим хозяевам. Вот почему я не хочу видеть, кого родила. Я боюсь, что во мне проснется материнский инстинкт, если я увижу младенца. Нет, материнство не для меня. Надеюсь, у вас

нет ничего против того, чтобы рожденные мною улучшили породу офицерского корпуса Советской армии? - Стёпа очаровательно улыбнулась, и доктор почувствовал, что этой улыбкой и этой циничной фразой она запрудила поток внезапной доверчивой откровенности.

Они остались друзьями, что выяснилось сейчас, когда Стёпа поступила в его отделение для пятых родов.

- Ну, Степанида, кто на сей раз отец ребенка? - спросил доктор, обследуя ее на гинекологическом кресле.

- Если это не праздный вопрос, то могу вам сказать, что ребенок от очень достойного человека, хотя он еще мальчик - на семь лет моложе меня. Только в июне ему исполнится девятнадцать. Но он уже личность. Жаль, мне пришлось отлучить его от себя четыре месяца тому назад, чтобы он не заметил беременности. Знаете, это был первый случай общения с мужчиной, которому мне хотелось рассказать о себе.

- Рассказали?

- Нет. Не захотела взваливать беду на этого славного мальчика.

- Вы его полюбили?

- Вне сомнений. Он тоже еврей.

- Почему тоже?

- Мне кажется, что вы еврей.

- Нет, - рассмеялся доктор, - я просто интеллигентный человек.

У Степаниды все протекало нормально. Плод в головном предлежании. Нормальное раскрытие. Воды отошли. Степаниду можно было оставить на попечении акушерки.

Странные события произошли в палате, куда доктор поместил капитаншу. В ту самую минуту, когда ему доложили, что Стёпа родила чудного мальчика весом три килограмма восемьсот пятьдесят граммов при росте пятьдесят один сантиметр, у капитанши начались невыносимые боли внизу живота. Опрос и обследование дали доктору основание назначить мыльную клизму, что оказалось радикальным родовспомогающим средством. Капитанша наполнила калом два больших судна. Не только молодой доктор, но даже выдавшие виды санитарки не подозревали, что в женщине может поместиться такое количество кала.

А в родильной комнате на столе лежала Стёпа, бледная, уставшая, но еще более красивая, чем обычно, хотя это тоже было невероятно.

- Ну что, Степанида, видела мальчика?

- Доктор, мы ведь уже говорили об этом. Нет у меня будущего. - Такая боль прозвучала в голосе Стёпы, что доктор не нашел слов для утешения, потоптался и вышел в соседнюю комнату.

Акушерка развернула простыню и показала ребёнка врачу. Перед ним, спокойно глядя, казалось, осмысленными глазами, лежал микельанжеловский ангелочек.

Доктор с отвращением подумал о двух суднах, наполненных калом. Он задумался и тут же упрекнул себя за отвращение, вызванное этими суднами. Разве это не часть твоих будней? Конечно, красота приятнее. Но ведь красота досталась без всяких усилий. И на что она тратится? Бабочка-однодневка. Без будущего. Бессмысленная пассивность русских аристократов. Не она ли причина их гибели? А эта женщина, ставшая матерью. Разве не заслужила она

свое материнство? Какая воля к самоутверждению и уверенность в своих действиях! Не перешагнул ли ты границы врачебной этики и поддался очарованию красоты? Нет, не это. Но кто может рассудить происшедшее однозначно?

Вскоре после выписки из больницы капитанша стала собираться в дорогу. Еще в начале зимы она нацелила своего кобеля на поиск места, где он сможет досрочно получить майора. Ему предложили должность в Забайкальском военном округе, на китайской границе. Капитанша не любила китайцев, как, впрочем, грузин, татар и прочих чучмеков. Не любила она даже братьев-хохлов, не говоря уже об американцах. Конечно, самыми ненавистными были евреи. Нет, капитанша не очень хотела, чтобы ее кобель воювал с китайцами. Слишком уж их много. Кто знает, уцелеет ли он, чтобы дожить до генерала. Но буквально перед самими родами (капитанша уже сама поверила, что были роды) кобеля вызвали в штаб и сообщили радостную весть: его посылают в Сирию готовить танкистов к войне с израильскими агрессорами. Можно ли было мечтать о чем-нибудь лучше? Как отлично совпадают ее планы с дикой нелюбовью к евреям, которых, к счастью, не так много, как китайцев. К тому же, кобелю лично не придется участвовать в бою, а только напускать на этих евреев выученных им сирийцев.

В мире капитанши царил гармония. В начале лета 1973 года полноценная семья капитана покинула высоту 237 с тригонометрической вышкой и вылетела в Дамаск.

Стереоскопическая история

Торжество в разгаре. В той стадии, когда некоторая, пусть даже полуофициальная напряженность растворилась в немалом количестве алкоголя. Ресторан, еще десять лет назад для подавляющего большинства присутствующих такой же труднодоступный, как Джомолунгма, сейчас стал просто удивительно уютным местом, в котором так приятно, так сладостно отпраздновать десятилетие окончания института. Не все из трехсот врачей их выпуска смогли или пожелали приехать на торжество, но многие. С женами и мужьями в зале более четырехсот человек.

Аншел (которого, по-видимому, не без оснований считали выдающимся хирургом, а стать выдающимся хирургом врачу с десятилетним стажем редкость необычайная) в отличие от большинства, приехавших из самых дальних мест, с женой пешком пришел в ресторан из дома. Уже три года он жил в своем городе, в котором окончил институт. Кроме естественного чувства родного дома, у Аншела почему-то была уверенность в том, что именно здесь, а не в другом месте, ему легче всего будет осуществить давнюю мечту - уехать в Израиль. Он знал, что именно отсюда в Израиль уехали несколько человек, как и он, родившихся в Румынии. Именно поэтому, а не из-за тоски по родным местам, он вернулся сюда из Караганды, куда был направлен после окончания института, где стал хирургом, любимым пациентами и уважаемым коллегами.

Жена была знакома с несколькими врачами. Еще с несколькими, о которых ей рассказывал Аншел, она познакомилась сейчас. Ее очаровала обстановка торжества, теплота общения сокурсников, смешные воспоминания об

институтских буднях. На филологическом факультете университета, который она окончила, почему-то не было такого братства, как у этих медиков. Но главное - наконец-то она могла вволю натанцеваться. От партнеров не было отбоя. Ей не удавалось отдохнуть между приглашениями.

Аншел только что чокнулся очередной рюмкой водки и выпил с майором медицинской службы, прилетевшим из Красноярска. Пять лет они проучились в одной группе. Десять лет не виделись. До чего же приятным оказалось это общение! А сейчас свободный стул жены заняла Софа, тоже одногруппница.

- Ну, как ты, Аншел? Все такой же правильный?

Аншел рассмеялся.

- Я только что собирался подойти к тебе и Левке. Как вы там на своем Урале? Все еще танки строгаєте, или уже вернулись к железнодорожным вагонам?

- С Божьей помощью, как ты обычно выражался. Я лично, как тебе вероятно известно, строгаю не танки, а баб, умеющих забеременеть чуть ли не ежедневно. Скажи мне, Аншел, тебе никогда не приходило в голову, что твое неуклонное следование каким-то непонятным обычным людям нормам граничит с патологией?

- Видишь ли, Софуля, еще в студенческую пору, видя, что ты скромная еврейская девушка, я пытался познакомиться с тем, что ты называешь непонятными обычным людям нормами. Это всего лишь наша Тора, наша книга законов, на которых сейчас по-существу держится цивилизация.

- Не знаю, как цивилизация, но иногда твоя порядочность у нормального человека, например, у меня, может вызвать тошнотворную реакцию.

- Не понимаю, о чем ты говоришь.

- Привет тебе от Тамилы.

Аншел застыл. Сознание, слегка затуманенное несколькими рюмками водки вдруг стало таким, как школьная доска, которую только что протерли влажной тряпкой.

- Замечательно! У тебя сейчас такой вид, словно ты случайно проглотил живую жабу. Ты, конечно, считал, что никто никогда никак не мог иметь представления о твоих отношениях с Тамиллой. Но, дорогой, все самое тайное, в конце концов, становится явным. Так вот, пока твоя половина танцует, я тебе кое-что расскажу.

Мы с Левкой работали в нашей больнице около пяти лет...

- Прости, что я тебя перебиваю. Вы с Левкой, не помню, расписались еще во время учебы, или уже после окончания института?

- Что значит расписались?! Женились, а не расписались. Женились перед самым распределением на работу. Конечно, мы могли, не женившись, начать удовольствия ещё раньше. Но я же была наивной дурочкой. Как нам тогда пели: "Мой совет: до обрученья не целуй его". Ох, и дурные же мы были! И что я берегла? Несколько квадратных миллиметров складки из слизистой оболочки? Уверю тебя, Левка не разобрался бы, не обнаружив ее у меня.

Да, так вот, мы уже работали около пяти лет, когда к нам хирургом из Казахстана приехала молодая красавица. Впрочем, описывать тебе Тамилу не надо. Ее мужа назначили главным энергетиком нашего завода. Оказывает-

ся, она уже была хорошо беременной. Я принимала у нее роды. Родила она замечательного богатыря. Четыре килограмма.

Вот тут начинается забавная история. Сына она решила назвать Аншелом. Аншел на Северном Урале! Ты представляешь себе нечто более невероятное? Кто когда на Северном Урале слышал имя Аншел? Я бы и сама не слышала, если бы пять лет не проучилась в одной группе с чудачком, которого звали Аншел. Почему чудачком? Ну, пойми сам. Разве можно было обвинить Хаимов, что они стали Ефимами, Барухов, что они стали Борисами и так далее? Разве в той обстановке, да и в нынешней, у еврейских ребят есть другой выход? Ты был единственным упрямым... Аншел Хаимович! Иногда я восхищалась тобой. Иногда считала просто сумасшедшим.

Да, так вот Аншел на Северном Урале. Муж стал в третью позицию. Что это за Аншел? Как это будет звучать Аншел Родионович? Но Тамилла объяснила, что ее, тогда умирающую девочку, вернул к жизни блестящий врач Аншел Иосифович. Вполне серьезно этот доктор сказал, что когда она родит мальчика, должна назвать его Аншелом. Это принесет сыну счастье. Ну, короче говоря, любящего мужа она уломала. Сложнее было с загсом. Нет такого имени и точка. Но и тут оказалось, что у Тамиллы характер сильнее советской бюрократии.

Постепенно к этой истории притерлись. Малыш рос образцово-показательный. Как-то так получилось, что мы очень сблизились с Тамиллой. Благороднейший человек! Для тебя, конечно, не тайна, что она моложе меня на два года, следовательно, моложе тебя на пять лет.

Как-то вечером, Левка в тот вечер был дежурным врачом, Тамилла заскочила ко мне. Забыла тебе сказать, что мы к тому же ближайшие соседи, квартиры наши на одной площадке. Не помню, как это получилось, я показала ей альбом нашего выпуска. Она медленно листала его. Внимательно осмотрела нашу подгруппу с моей фотографией. Следующий лист - твоя подгруппа. Она открыла его и замерла. Знаешь, у нее было такое состояние, что я испугалась. Именно ее состояние помешало мне сразу сообщить, что произошло. Имя Аншел и Аншел на этой фотографии. А ведь я знала, что ты работаешь в Караганде, а Тамилла приехала из Казахстана.

Когда она чуть отдышалась, когда прошел мой испуг, когда я увидела, как она пожирает эту фотографию, я спросила ее: "Аншел?" Она молча кивнула. Потом спросила, есть ли у меня чего выпить? Я сказала, что есть хороший ликер. "Нет, - сказала она, - я имею в виду валериану". И все же мы выпили две или три рюмочки ликера.

Вот тут она мне рассказала о том, как приезжала в Караганду смотреть на твои операции, а это было совсем не просто. Редко она могла оставить больничку на попечение сестер. Рассказала, как мечтала стать твоей ученицей, как втрескалась в тебя так, что это единственный раз и на всю жизнь. Болезнь хроническая, неизлечимая. Знаешь, как гинеколог, могу тебе сказать, что бабы иногда невероятно откровенны. Ни один мужчина не расскажет своему самому близкому приятелю, что может рассказать женщина.

Так вот она сказала, что иногда в самые интимные мо-

менты, чтобы получить максимальное удовольствие, закрывает глаза и представляет себе, что ее обнимает не Родион, а ты. И тогда, сказала она, я понимаю, что значит секс в раю. И тогда ничего не понимающий Родион на седьмом небе.

Естественно, она рассказала мне о той самой ночи, когда ты был у нее. Я возненавидела тебя во время этой исповеди. Она рассказала, как после трех плановых операций, которые ты сделал в ее сельской больничке, и еще нескольких дополнительных, вы пришли к ней домой. Как она постелила себе на полу, но ты категорически отказался занять ее кровать и сам лег на пол. Как ночью она пришла к тебе и легла рядом, рядом с самым любимым человеком, который и сейчас остается самым любимым. Как, вместо того чтобы вдвоём испытать радость любви, ты читал ей нравоучительную лекцию.

Понимаешь, рассказывала она, я впервые лежала рядом с мужчиной. Я сгорала от желания. А он объяснял мне, что по некоторым причинам жениться на мне не может. А лишая девственности просто так ради удовольствия ему не позволяет его вера и его совесть. И было ему наплевать на мое уверение, что мне вовсе не нужна его женитьба, что я хочу его так, что сейчас умру, если все не свершится. Но он лежал стальной, не отзываясь на мои объятия и поцелуи. И когда я случайно прикоснулась к его трусам, я почувствовала большую стальную болванку.

Знаешь, Аншел, когда она мне это сказала, я вдруг пожалела, что в течение пяти лет общения с тобой, не удосужилась ощутить эту самую стальную болванку. Не будь сейчас вместе со мной Левки, я бы попыталась компенсировать это упущение. Или ты прочитал бы мне мораль о супружеской верности?

- Софка, что с тобою стало? Ты ведь была такой скромной девушкой.

- Ну, вот, начинается. Так слушай дальше.

Тамила до сих пор сокрушается, говорит, что, по существу, все было элементарно просто. Что следовало стянуть с тебя трусы, сесть на тебя и эту такую желанную, такую необходимую такую живую сталь ощутить в своем горящем естестве. Но, говорит, я же была настолько наивна и неопытна, что считала соитие возможным только тогда, когда женщина лежит на спине, а мужчина - на ней.

Сволочь ты, Аншел. А небось, гордишься своим благородством. Скажи, кому оно нужно, кому оно доставило радость?

- Понимаешь, Софа, не знаю, как бы я поступил сейчас, почти шесть лет спустя. Вероятно, так же. Для этого есть моральные причины. Не будь она девственницей...

- Господи! Опять девственницей! Опять несколько квадратных миллиметров несчастной плевры.

- Но откуда я мог знать, как ее будущий Родион отреагирует на отсутствие этих, как ты говоришь, нескольких квадратных миллиметров? Как я смел испортить жизнь замечательной девушки?

Умолкла музыка. Жена Аншела, красивая, раскрасневшаяся, возбужденная подошла к столу почти одновременно слевой.

- Слушай, Аншел, что это ты оккупировал мою Софу?

¹ Аншел и Софа встали. Аншел познакомил жену с быв-

шими одноклассниками. Разговор принял общий неприкрытый характер. Но Лева вдруг спросил:

- До нас дошли слухи, что ты мечтаешь об Израиле. Это правда?

- Правда.

- Но это же, прости меня, глупость.

- Если ты не забыл, генетика и кибернетика тоже глупость. Возьми "Краткий философский словарь" 1954 года. С момента издания прошло всего семь лет. Кстати, справочник не изъят. Прочти, что такое кибернетика.

- При чем тут генетика и кибернетика? В отличие от нас, живущих у черта на куличках, ты живешь и работаешь в городе, где родился. Слухи о твоих успехах в хирургии дошли даже до наших краев, недалеких от Северного полюса. Чего же тебе еще надо?

- Дорогой Лева, я почему-то не сомневаюсь в том, что приеду встречать вас в аэропорт, когда вы прилетите в Израиль.

- Бред сивой кобылы!

- Прости мне, Лёвушка, ты был несколько ленивым студентом. Предпочитал конспекты. Премудрости набирался преимущественно перед экзаменационной сессией. Не знаю, полюбил ли ты, наконец, книги. Но я настоятельно рекомендую тебе прочитать третью книгу Пятикнижия - Левит. Причем прочитать очень внимательно. Тогда ты поймешь, что это не бред сивой кобылы.

Снова танцевала жена. Снова возникали водовороты междусобойчиков в разных уголках зала. Снова врачи с десятилетним стажем окунались в неповторимую пору своей студенческой молодости. После еще нескольких рюмок водки Аншелу вроде бы удалось стряхнуть с себя тяжесть Софиного рассказа. Но дома!

Из ресторана расходились не торопясь, провожая друг друга, делясь воспоминаниями, впечатлениями, предвкушением будущих встреч. Домой пришли во втором часу ночи.

Аншел сразу же лег. Уснуть никак не удавалось. Нет, не Софин рассказ он вспоминал, глядя на колеблющийся свет в окне от уличного фонаря. Бывали у него бессонные ночи, когда после операционного дня он анализировал каждое движение, каждый этап операции от разреза кожи до наложения последнего шва.

Вот так сейчас шаг за шагом он рассматривал каждую минуту общения с Тамилей, начиная с того летнего дня, когда, приехав из своего села в Караганду, она впервые обратилась к нему с просьбой разрешить ей присутствовать при операциях. Разумеется, он разрешил. Конечно, он заметил, как стройна и красива эта юная начинающая докторша.

Но ее яркая русская красота не вызвала у него амбулаторной влюбленности, как он иногда шутил по поводу случайных связей. При его невероятной занятости и аскетическом образе жизни ее внешность оставалась для него где-то на далекой периферии, не достигавшей глубины души. Для случайных связей у него не было ни склонности, ни времени, а серьезные отношения должны были завершиться женитьбой. Его непреклонное желание уехать в Израиль, его неотразимая мечта об Израиле четко обозначили, на ком он женится. Это должна быть хорошая ев-

рейская девушка, разделяющая с ним его мировоззрение. Он понимал, что таких еврейских девушек не очень много. Просто должно повезти. Он должен встретить ее и, естественно, влюбиться. Тамила, конечно, прелесть. Она тоже относится к тем девушкам, которых мало. В этом году она окончила медицинский институт. Краем уха он услышал разговор двух операционных сестер о том, что при такой неотразимости умудряется сохранить свою девственность. Всё знают, сороки.

Тамила несколько раз приезжала в операционные дни. Оперировать ему приходилось невероятно много. Он был и общим хирургом, и ортопедом-травматологом, и проктологом, и урологом и даже нейрохирургом. А тут еще это наваждение - освоение целинных земель, приведшее к неслыханному травматизму. Хирургическое отделение больницы было не просто перегружено - больничные койки, казалось, скоро придется размещать чуть ли не в кухне.

Примерно раз в неделю Аншел на санитарном самолете вылетал в районные центры и оперировал на месте, чтобы таким образом хоть немного разгрузить больницу в областном центре.

Как-то во время посещения операционной Тамила спросила, не сможет ли Аншел Хаимович в ее больнице прооперировать трех плановых больных - рак молочной железы и две паховые грыжи. Аншел внимательно выслушал ответ на вопрос о возможностях операционной и назначил день операций.

Проблем с аэродромами в Казахстане не было. Легкий самолёт По-2 мог сесть и взлететь с любой небольшой площадки. Но в сумерки самолеты не летали. Поэтому, не зная, успеет ли он закончить операции до сумерек, Аншел, прилетев в семь часов утра, отпустил самолет, попросив летчика прилететь за ним завтра в такое же время.

За три года Аншел привык к убогости казахских сел и районных центров. Но увиденное здесь повергло его в уныние. Чахлые саманные домики. Ни одного деревца. Маленькие пыльные смерчи на не замощенной улице. Здание больницы снаружи отличалось от остальных домов только размером. Но внутри Аншела поразили не соответствовавшие окружению порядок и чистота. Маленькая операционная оборудована наилучшим образом. В ней Тамила осуществляла небольшие оперативные вмешательства. Весь этот идеальный порядок начинающая врач сумела организовать за два месяца своей работы.

Операционная сестра, молодая казашка, все приготовила к операциям. Тамила ассистировала отлично. Несмотря на то, что ампутация молочной железы заняла много времени, в два часа дня они закончили все запланированные операции. Санитарка принесла бутерброды с козьим сыром. Они перекусили перед входом в операционную. Другого места для еды в больничке не нашлось.

Обычно, оставаясь на ночь в больницах, Аншел ночевал в кабинете главного врача. Но здесь у главного врача, а заодно и хирурга, и кого угодно, у Тамилы не было кабинета. Все палаты, тесные комнатки, были густо забиты койками с больными. Аншел пока не мог себе представить, где он будет ночевать. Но до вечера оставалось время. Вместе с Тамилей он обошел палаты и прооперировал еще двух больных.

Уже совсем под вечер, попросив прощения за не совсем благоприятные условия, Тамила повела Аншела к себе домой.

Жилище ее, такой же саманный домик, находился на краю села. Строение несколько отличалось от соседних. Для врача достроили еще одну комнату. Но задняя стенка дома примыкала к бугру. Именно на нем решили соорудить пристройку. Таким образом, из крохотной комнатенки основного домика шесть ступенек вели в спальню без единого окна, расположенную в пристройке. Сэкономили строители.

Тамила попросила прощения за убогий быт, зажгла керосиновую лампу, на улице слила из кружки воду на руки Аншела и пригласила его к столу. Обед был приготовлен ею накануне. Сейчас она подогрела его на примусе. Давно уже Аншел не ел такой вкусной пищи. Тамила оказалась блестящей кулинаркой. Спирт она не развела, предложив Аншелу сделать это по своему вкусу. Сама она пригубила каплю спирта, поровну разведенного водой. Самое удивительное - на столе оказался арбуз. Невероятно! Арбуз в казахском захолустье! Как она узнала, что арбуз его любимая ягода?!

Покраснев до корней волос, Тамила объяснила, что туалета здесь нет. Оправиться можно в овраге, метрах в сорока от домика.

- А как же зимой?

- Так же. Только в буран, говорят, к дверной ручке надо привязать веревку и разматывать ее до самого оврага. Иначе можно потерять направление и замерзнуть.

У Аншела не было слов. Явно неординарная девушка, единственная русская в этом селе. В таких условиях. Его убогий быт в сравнении с этим представился ему царским.

Тамила попросила его посветить, подержав лампу, пока на полу спальни она расстелила постель.

- Аншел Хаимович, вы будете спать в кровати.

- Об этом не может быть и речи. Я буду спать на полу.

Они долго спорили по этому поводу. Аншелу даже пришлось прибегнуть к начальственному тону. Кончилось тем, что Тамила подчинилась приказу. Она посветила, пока он оказался у своей постели, погасила лампу, оставив ее на столе, и в кромешной темноте наощупь поднялась в спальню к своей кровати. Не видя абсолютно ничего, он только слышал, как она раздевалась, стараясь даже едва уловимыми звуками не потревожить его.

Аншел лежал, снова и снова с печалью думая об условиях, в которых оказалась девушка-врач, только что окончившая институт. Он не знал, как она жила в студенческие годы. Вообще он имел о ней поверхностное представление. Ясно было только, что она умна, отлично образована и хозяйственна необычайно. Свидетельство тому порядок в больнице, наведенный в кратчайший срок, и в ее развальнойе. Сон все не приходил.

- Вы не спите, Аншел Хаимович?

- Не спится что-то.

В абсолютной темноте он не видел и не слышал, как она встала с постели. Поэтому полной неожиданностью оказалось ее появление возле его ложа. Приподняв простыню, которой он был укрыт, она легла рядом с ним, крепко прижавшись к нему голым телом.

Аншел окаменел.

- Тамила, не надо.

- Надо, дорогой Аншел Хаимович, ох как надо! Ох как я мечтала об этом. Если бы вы только представили себе, как я мечтала и как я вас люблю! - поцелуй ее при всей страстности объятий были детские, неумелые. Аншелу сразу стала понятна ее неопытность. Но это роскошное, это голое тело! Эта изумительная грудь, прижимавшаяся к его обнаженной груди! Господи! Как устоять? Он обратился к Торе. Он заставил себя вызвать образ Пинхаса, убивающего копьем еврея Зимри, сына Салу, и мадианитянку Козби, дочь Цура, предавшихся блуду. Господи! Помогите! Не выдержу!

- Тамила, девочка дорогая! Поймите, что мы не имеем права. Кто знает, какой муж вам достанется, как он отнесется к тому, что вы не девственница. Это может испортить всю вашу жизнь. - он говорил, стараясь оставаться неподвижным, для чего пришлось напрячь все мышцы, чтобы не обнять это изумительное существо, чтобы не ответить на ее поцелуй, чтобы не войти в нее готовым взорваться естественным. Хоть бы случилась эякуляция. Стыдно, конечно. Но он избавится от этого невыносимого напряжения. Зачем она прикасается к нему гладкими изумительными ногами? А еще невыносимее, еще сластнее, когда ее рука сквозь трусы касается его. Случайно или умышлено? Снова коснулась рукой. Он изогнулся, как при столбняке. Нет, это невыносимо! Господи, нет сил!

- Тамила, славная девочка, прекратите. Вы создали себе образ, фантом. Вам здесь, где нет ни единого человека, с которым вы хотя бы могли поговорить, показалось, что я достоин вас. Не надо. Не калечьте свою жизнь.

- Аншел, родной, возьми меня, возьми!

- Нельзя, девочка, нельзя. Взяв вас, я обязан жениться. А жениться на вас по некоторым причинам я не могу. Кроме того, это может кончиться беременностью. Вы представляете себе?

- Не просто представляю, а мечтаю об этом. Мечтаю о ребенке от вас. Я умру сейчас. Аншел, возьмите меня. Войдите в меня. Он ведь сейчас у вас такой твердый, такой большой, такой родной. Введите его в меня, Аншел! Прошу вас!

Ему так хотелось обнять ее и ответить на ее поцелуй! Но он продолжал лежать, как истукан, повторяя и повторяя причины невозможности их соития. В редкие моменты, когда по какой-то причине она на мгновение отстранялась, он болезненно замирал, переставая ощущать ее грудь, ее нежную кожу. В такие моменты он упрекал себя в лицемерии. А еще больше, когда она прикасалась к трусам, и он представлял себе, как просто, без всякого усилия она может их стянуть, как просто ей сесть на него и, если можно так выразиться, изнасиловать. Не он тогда будет виновным в том, что лишил ее девственности. Останется он, лицемер, в таком же положении на спине, или отвернется? Но странно, она не намеревалась прибегнуть к этому. Неужели неопытность сильнее знания элементарных начал анатомии?

В эту ночь он понял, что способен выдержать любую пытку.

Абсолютная бессонная темнота была такой бесконечно мучительной и такой быстротечной. Зазвенел будильник.

В пять часов утра они уже были в больнице. Он осмотрел прооперированных больных. В семь часов утра прилетел самолет. Тамила проводила Аншела. Он пожал и поцеловал ее руку.

- Все равно, дорогой Аншел Хаимович, вы не сможете заставить меня не любить вас. А приезжать, как и раньше, в операционные дни вы разрешаете?

- Конечно. Только без любви. Вы даже представить себе не можете, какая вы замечательная. Хотел сказать, очаровательная, но это не то слово. Я вообще не нахожу нужных слов.

Двести километров до Караганды. Почти час лета. В тесном биплане он сидел спиной к пилоту, снова переживая бессонную ночь. Уснуть бы сейчас. Впереди тяжелый рабочий день. Но уснуть не удавалось. Всплывали воспоминания, а с ними снова и снова дикая нетерпимая эрекция.

Каждое ее появление в операционной, пока скальпель не прикасался к коже пациента, было для него мучением.

Летом следующего года она пришла в конуру, снимаемую им в общей квартире в доме недалеко от места работы. Она проследила, как он вышел из больницы, и пошла за ним. Добро, ни хозяйка, ни соседи не заметили их появления.

- Аншел Хаимович, я пришла попрощаться с вами. Я выхожу замуж. Он замечательный человек. Но я, грешная, не люблю его. Он не вы. Кроме вас, я никого никогда не полюблю. Это не слова. Я себя хорошо знаю. Дорогой, сделайте мне подарок. Возьмите меня сейчас, при свете, чтоб хотя бы один раз в жизни я увидела, как любимый мной человек входит в меня.

- Нельзя, дорогая. Если мы выдержали в течение целого года, надо выдержать в течение нескольких минут. Но позвольте мне на прощание поцеловать вас.

- "Позвольте"... Да я вам позволяю вывернуть меня наизнанку! Вы все равно останетесь со мной, пока я жива. В моем сознании. Я могу, я умею любить только одного человека, только вас. Это уже проверено. Об этом даже упоминать неловко, я уже не говорю о своей студенческой юности, но в редкие мои приезды в Караганду многие достойные мужчины предлагали мне руку и сердце. Вот я и выбрала из всех нелюбимых самого достойного.

- Прощайте, дорогая девочка. Время великий целитель. - он поцеловал ее в щеку. Она тут же подставила губы. Но он взял себя в руки.

- Прощайте.

Фонарь на улице погас. Фиолетовое небо постепенно становилось синим, голубым. Он тихо встал с постели, чтобы не разбудить жену. Воспоминания возбудили его. Ему очень захотелось ее. Он знал, что после вчерашнего торжества, стоит только прикоснуться к ней, желание у нее будет не меньшим. Не было сейчас никаких ограничений. Но в этот момент по какой-то непонятной мистической причине ему захотелось снова испытать себя.

Он сел на пуфик возле трельяжа и с благодарностью смотрел на умиротворенное красивое лицо жены, подаренной ему небом.

Пять ночей в Сочи

С Юрием Борис познакомился еще в автобусе по пути с вокзала к дому отдыха. Юра студент из Одессы. Два других студента в их комнате, Игорь из Москвы и Вениамин из Новосибирска, отдыхали уже неделю. Они были источником необходимой информации, главной составляющей которой были пляж, столовая и секс. На этих трех китах держался дом отдыха, расположенный в нескольких километрах от ближайшего населенного пункта. Основная масса отдыхающих студенты-медики. Есть и молодые преподаватели, ассистенты. Говорили, что даже два доцента снизились до этого дома отдыха.

При обсуждении такой важной темы как секс, выяснилось, что у Бориса в этом вопросе нет абсолютно никакого опыта. Удивление трех сожителей было беспредельным. С вокзала Борис приехал в пиджаке, на котором красовалась солидная колодка с ленточками орденов и медалей. После окончания войны прошло три года. Каким образом студент, бывший офицер, хорошо сложенный симпатичный парень оставался девственником, оставалось не объяснимым.

- Слушай, Борис, - сказал Юрий, - эта ассистенточка из Саратова, которая ехала с нами в автобусе, ты еще сказал, что у нее хорошая фигура, глаз с тебя не сводила. Так что у меня нет никаких сомнений в том, что непростительный дефект в твоей отличной биографии будет устранен буквально сегодня-завтра.

Эта фраза пробудила тайную надежду в сознании Бориса, хотя к разговорам на подобные темы он обычно относился без одобрения, даже с некоторым отчуждением. Какая-то непонятная стыдливость во всем, что касается отношений с женским полом, сковывала его, человека вовсе не стыдливого, в остальном весьма активного и, можно сказать, избыточно общительного.

Даже в их студенческой группе со всеми девушками он почему-то оставался в каких-то братских отношениях. Больше того, несколько раз, выпивая на брудершафт и во время этой процедуры целуясь с девушкой, он никак не мог потом перейти с ней на ты.

Единственное исключение... Он часто вспоминал этот случай. Сразу после зимних каникул во время занятия в рентгеновском кабинете, в абсолютной темноте, Мара, стоявшая перед ним, вдруг всей спиной и ягодицами прижалась к нему. Он хотел и не мог отстраниться. Хотел, потому что устыдился своей внезапной мгновенной реакции, подавить которую был не в состоянии. А не мог, потому что очень сладостно было это состояние. К тому же Мара, почувствовав его твердость, прижалась еще сильнее. Мара была очень красивой женщиной. Пожалуй, самой красивой в их группе. И единственная замужней. По пути на следующую пару между Марой и Борисом состоялся разговор, которому Борис и сейчас не мог дать однозначной оценки. Дело в том, что он был знаком с Марииным мужем, тоже демобилизованным офицером, на несколько лет старше Бориса. Инженер. Занимал какую-то руководящую должность на фабрике. Борис даже несколько раз вытывал с ним.

- Понимаете, Мара, - сказал он, - я так вас хочу, что никакими словами невозможно описать степень моего хоте-

ния. Но совесть не позволяет мне быть в близких отношениях с женой моего доброго знакомого. Жаль. Очень жаль.

В группе, кажется, заметили натянутые отношения между Марой и Борисом. Но мало ли какая причина могла вызвать такие отношения.

Ассистенточка из Саратова, как назвал ее Юра, очень понравилась Борису. Он даже не знал еще ее имени, не только семейного положения. Но, решил он, в конце концов, даже если она замужем, его это не остановит. Если и существует ее муж, никакого представления о нем он не имеет, и, разумеется, ничем ему не обязан. Проблема только в том, что они на разных ступеньках социальной лестницы. Он студент, а она ассистентка. Вероятно, именно поэтому, когда во время обеда он заметил ее явное внимание к себе (она сидела недалеко от их столика), Борис постеснялся подойти и познакомиться с ней. Повторилось это на второй и на третий день. За это время он успел стать центром компании, в которой было более десяти студентов, из них - семь симпатичных девушек. В этом не было ничего необычного. Борис не считал этого своим достоинством. Просто и в армейской и в студенческой среде он всегда оказывался человеком, кристаллизующим небольшой коллектив. Естественно, вся их комната была в этой компании. Юра очень быстро подобрал себе пару, а Игорь и Веня уже упивались любовью двух студенток. Борис, как и в институте, почему-то оставался просто в дружеских отношениях со всеми девушками. Ну, просто рок какой-то!

Еще хуже, что у ассистентки, ощутившей, как ей показалось, равнодушие Бориса, появился поклонник, с которым она уединялась в роще. А роща, как убедительно и красноречиво высказался Игорь, росла для того, чтобы скрывать от посторонних глаз радости любви. Бориса это очень огорчило. Не то, разумеется, что роща росла.

Утром четвертого дня Борис удивился, увидев Тamarу, студентку их курса. Они были в разных группах, но на одном потоке. Борис не мог вспомнить, беседовал ли он когда-нибудь с Тамарой в течение трех лет. Вежливо раскланивались - это точно. Тихая красивая девушка, скромная, не выделявшаяся участием в общественной жизни, она как-то умудрялась оставаться в тени, не осаждаемая поклонниками. Она даже неброской аккуратной одеждой приглушала свою явно неординарную внешность, словно стеснялась ее. Сейчас они вежливо раскланились, перекинулись несколькими ничего не значащими словами, и Борис пошел на пляж со своей компанией, не сообразив, что было бы естественно и разумно, предложить Тамаре примкнуть к ним - все-таки сокурсники.

Вечером в комнате Вениамин рассказывал о Тамаре:

- Понимаете, познакомились мы на пляже. Не очень разговорчива, хотя интеллект будь здоров! Но грудь у нее! Такая грудь, братцы, по благу выдается одна на тысячу девушек. Удивительная грудь! А фигура! Посмеете ли вы осудить меня за то, что мне страстно захотелось сменить мою Леночку на Тамару? Такая грудь! И надо же - владелица ее настоящая льдина, торос. Подступиться к ней невозможно. Но я не пожалею усилий.

Вениамин, как выяснилось, так и не подступился, несмотря на все энергично предпринимаемые попытки. Под-

ступились ли другие, Борис не знал. Собственно говоря, это его не интересовало.

До самого отъезда, а до него было еще двадцать три дня, с Тамарой Борис почти не общался. Как в институте. В свою компанию, которая постоянно обновлялась, одни уезжали, приезжали другие, привлечь ее он так и не догадался. А она, по-видимому, оставалась к этому равнодушной, принимая как должное.

Вечером накануне Бориного отъезда после ужина на пляже собралась вся их компания. Проводы отметили несколькими бутылками сухого не очень качественного вина, - увы, другого в поселке не было. Разошлись почти перед самым отбоем.

У входа в их домик Бориса ждала Тамара.

- Я слышала, что вы собираетесь в Сочи, а уже оттуда домой.

- Да. Быть в нескольких километрах от знаменитого курорта и не увидеть его, просто грешно.

- И я так думаю. Не будете ли вы возражать, если мы поедем вместе?

- Но у вас еще четыре дня в доме отдыха.

- Можно сократить. А поехать в Сочи самостоятельно я, возможно, не решилась бы.

- Ну что ж, я за.

Тут же состоялось деловое совещание. Они подсчитали свой капитал, решив соединить его. Правда, Бориса смутило, что у Тамары оказалось на сорок рублей больше. Он почувствовал себя несколько ущемленным этим. А в общем, денег, хоть и немного, но впритык для двух-трех дней в знаменитом курортном городе.

Утром первым же поездом они отправились в Сочи. После деревенского уединения их оглушило столпотворение вокзала. К счастью, подошла строгая сухощавая женщина и спросила, не нужно ли им жилье. Борис ответил утвердительно. Женщина предупредила, что кровать в течение суток стоит десять рублей. Дешевле в Сочи не бывает. Борис взял оба чемодана, свой и Тамары, и они долго петляли по малопривлекательным улицам, пока подошли к небольшому одноэтажному домику с неудобным маленьким двором перед двумя дверями и таким же чахлым садиком за домом.

Хозяйка открыла одну из двух дверей и ввела их в крохотную комнатку. Слева от двери под небольшим окном стояла кровать. Этим и ограничивалась вся мебель.

- Вам одну кровать, или две? - строго, как на допросе, спросила хозяйка. Во время похода с вокзала она никак не могла определить статуса этой пары.

- Конечно, две, - немедленно ответил Борис.

В глубине души его даже оскорбил такой вопрос. Неужели она не видит, какие у нас отношения?

Тамара никак не отреагировала ни на вопрос, ни на ответ. Она вообще была не очень разговорчивой.

Хозяйка принесла узкую металлическую кровать с прохудившейся сеткой. С Бориной помощью собрала и втиснула ее перпендикулярно первой, почти перекрыв дверь торцом кровати. Но студенты отнеслись к этому с олимпийским спокойствием. Они слышали, что в Сочи в курортный сезон для жилья могут сдать и собачью будку. Сейчас они обсуждали, с чего начать первый день в Сочи: пойти

за железнодорожными билетами или все дела оставить на потом и пойти на пляж.

Победило благоразумие. Но в билетной кассе их ждало отчаянное разочарование. Выяснилось, что раньше, чем через две недели, выехать не удастся. Тамара решила тут же послать телеграмму родителям с просьбой выслать ей денег. Но Бориса этот вариант не устроил. Ему некому было отправить подобную телеграмму. Он начал исследовать варианты.

Выяснилось, что через пять дней в Одессу пойдет круизный теплоход "Грузия". А из Одессы добраться домой должно быть значительно проще, тем более что из подсознания пришла авантюрная мысль, продиктованная опытом. К этой аванюре его подталкивало то, что деньги, рассчитанные на три дня пребывания в Сочи придется растянуть на шесть, к тому же, сейчас трудно точно соразмерить транспортные расходы.

Авантюра заключалась в том, что из Одессы он надеялся улететь самолетом, притом - "зайцем". Весной он летел из Киева в Черновцы. Когда он приехал в аэропорт "Жуляны", у него было точно сто восемьдесят рублей, ровно столько, сколько стоил билет. Сто восемьдесят и ни копейки больше. Он просунул в окошко деньги, но кассирша велела добавить еще пять рублей, стоимость страховки. Пяти рублей у него не было. К счастью, он услышал объявление по радио, к дежурному пригласили профессора, заведующего кафедрой их института. Борис тут же решил обратиться к нему и одолжить деньги, хотя профессор преподавал на четвертом курсе и Бориса не знал. Поиски профессора в зале оказались безуспешными. Началась посадка в самолет. Борис пошел, надеясь там найти профессора и оказался в толпе пассажиров. Дежурный по посадке поторопил его подняться в самолет. Неуверенность покинула его уже только на высоте. Не выбросят же его, безбилетника, из самолета. А сто восемьдесят рублей он с благодарностью отдаст. Но и при посадке никто ничего не потребовал. Может быть, и в Одессе пройдет такой номер.

Тамара спокойно выслушала этот рассказ, никак не отреагировав на него. Казалось, она полностью полагается на решения своего старшего товарища.

На пляже Борис вспомнил восторженный отзыв Вениамина о Тамаре, особенно о ее груди. Действительно, Тамара была великолепа. Как это одежда могла скрывать такую прелесть?

Длинные стройные ноги при относительно невысоком росте, такие же красивые руки. Плавный переход шеи в слегка покатые плечи. Но грудь! Купальник не в состоянии был скрыть ее красоты. Вероятно, очень тонкая талия делала тугую соразмерную грудь такой выдающейся. Вот так Тамара!

Пообедали они в какой-то забегаловке, отстояв полуторачасовую очередь. Надо было переходить на режим экономии.

Фактически не пять, а шесть дней они прожили почти впроголодь. Борис отнесся к этому очень спокойно. Похоже, что и Тамара отнеслась так же. Вот только пять ночей оказались для Бориса муками Тантала. Зевс наказал своего провинившегося сына, сбросив его в Аид, где Тантал умирал от голода, когда перед ним были самые изысканные

яства. Но как только он прикасался к ним ртом, они уходили от него. Он погибал от жажды, стоя по шею в чистой воде. Но как только он наклонялся к ней, вода уходила. В двух шагах от Бориса лежала очаровательная девушка, такая совершенная, такая желанная, а он вынужден был испытывать физическую муку напряжения, заставляя себя не думать о ней. Под утро второго или третьего дня, когда он, наконец, уснул, ему приснилась Тамара. Проснувшись, он мучительно соображал, как скрыть пролившуюся сперму.

Днем было проще, хотя по-своему даже сложнее. Бориса удивило, что эта неразговорчивая девушка так образована и начитана. К тому же невероятно, как в институте он не обратил внимания на ее уникальную походку. Стройные ноги царственно несли неподвижный, чуть откинутый назад корпус, словно уравнивающий тяжесть грудей. На красивой головке, казалось, висит не поддерживаемая рукой драгоценная амфора, по самый венчик наполненная розовым маслом. Ни одна капля не прольется из амфоры при таком шаге. Но еще больше Бориса удивило и озадачило то, что, глядя на совершенную фигуру, на доброе красивое лицо, на большие печальные серые глаза славной девушки, ему хотелось не просто жадно обнять ее, а защитить этим объятием от опасностей окружающего мира. Надо же такое!

На пляже они познакомились с симпатичной парой ленинградцев - врачом и актрисой, которые пригласили их в поездку на Ахун-гору. С этой парой они еще дважды общались.

Прошло пять суток. Из Сухуми пришел теплоход "Грузия". Борис купил два палубных билета - один до Одессы за семьдесят пять рублей, а второй до ближайшего порта, до Туапсе за семнадцать. В Сочи не было настоящего порта. Теплоход не подходил к причалу, а остановился на рейде. К нему пассажиров подвозили на катере. Без билета не троберешься.

На корабле они встретили супружескую пару, профессора и его жену, доцента, из их института. Узнав, что у Тамары палубный билет, они тут же пригласили ее к себе в каюту первого класса, где у них был свободный диван. Удача обрадовала Бориса.

Сейчас он стоял и смотрел, как четыре матроса взялись за рукоятки лебедки и неторопливо стали поднимать трап. Командовал ими пассажирский помощник капитана. Бориса удивило, что трап поднимают четыре здоровых парня. Никакого усилия. Движения их были ленивые, расслабленные. Он пренебрежительно высказал свое мнение помощнику капитана. Тот с любопытством посмотрел на Бориса.

- Надо полагать, студент?

- Да.

Матросы прекратили крутить лебедку и с интересом прислушались к разговору.

- И сколько же человек, по-твоему, должны поднимать трап?

- Думаю, что я бы поднял один.

- Да? Так на что же мы поспорим?

- Если вы не возражаете, на три обеда до Одессы.

- Ну, а если ты проиграешь?

- На ваше усмотрение в пределах возможного.

- Ну, давай, студент, приступай.

Тут как раз рядом с ним появилась Тамара. Она с явным осуждением посмотрела на Бориса и приняла подержать снятый пиджак с орденой колодкой. Борис взялся за рукоятку. Пока трап был под углом сорок пять градусов, рукоятка подавалась с терпимым сопротивлением. Но по мере того, как трап поднимался к горизонтальному положению, крутить становилось все тяжелее. И, наконец, сопротивление стало таким, что Борис почувствовал, как у него буквально трещат позвонки. В глазах появились черные круги. Он чувствовал, что это предел. Надо немедленно прекратить. Но ведь он не имел права проиграть. Ему нечем расплатиться. Он вспомнил относительно недавнюю послевоенную историю. Его друзья-спортсмены и среди них чемпион Советского Союза по тяжелой атлетике, чтобы как-то просуществовать, ездили по селам с лекциями и демонстрациями своего умения. Однажды они решили разыграть чемпиона. Пока он рассказывал аудитории разные истории, они навесили на гриф груз, на килограмм превосходящий мировой рекорд. Чемпион закончил рассказ и подошел к штанге. Увидев ее и хохочущих за кулисами товарищей, он озверел. Объяснить колхозникам, что произошло? Не поймут ведь. Не поднять штангу, а ее невозможно поднять, это же позор. Он схватил гриф и поднял штангу. Он побил мировой рекорд, поразив приятелей. Но ведь никто им не поверит. А он - сумеет он повторить рекорд?

Когда трап замер в горизонтальном положении, помощник капитана, матросы и несколько пассажиров зааплодировали.

- Ну, и силен ты, студент! Придется кормить тебя.

Корабль тронулся. Стемнело. Становилось прохладно. Палубные пассажиры, а их было очень много, стали искать места для ночлега. На крышке носового транспортного люка расположилась большая группа альпинистов с бухтами страховочных канатов, альпенштоками, ледорубами. Борис пристроился рядом с ними.

Проснулся он на рассвете от дикого холода. Вокруг никого. Встречный ветер сдул всех альпинистов. Борис соскочил с люка и стал разогреваться прыжками и быстрыми взмахами рук.

- Эй, студент, замерз? - прозвучал сверху из капитанской рубки охрипый голос с грузинским акцентом.

- О-ко-лел.

- Паднимись ко мне.

- Как?

- Справа по борту первая дверь. Паднимишься по трапу.

Вечером Борис услышал легенду о капитане. Оказывается, во время одного из рейсов в Нью-Йорк он наткнулся на забастовку докеров. Чтобы не простаивал корабль, что очень дорого обходилось государству, капитан нанял для разгрузки штрейкбрехеров. За политическую слепоту его сняли с зарубежных рейсов, и сейчас он командует круизным кораблем, без возможности попасть за границу.

Капитан дал ему рюмку коньяку. Борис проглотил ее залпом, как водку.

- Это ты вчера поднимал трап?

- Да.

- Ну и дурень. Инвалидом мог стать.

- Зато заработал обеды до самой Одессы.

Капитан снова наполнил рюмку коньяком.

Днем в бассейне на корме корабля Борис заключил еще одно пари. На сей раз с дородным генералом, который очень уверенно и совершенно безграмотно утверждал, каким временем ограничены возможности ныряльщиков. Борис сказал, что без всякого усилия просидит под водой в течение полутора минут. Генерал высказал сомнения и предложил пари на несколько кружек пива в день до самой Одессы. Борис разделся. Тамара молча сторожила его одежду. Перед тем как погрузиться в воду Борис проделал несколько очень глубоких вдохов и выдохов. Затем, дав знак рукой, окунулся и, держась за поручни лесенки, слушал, как каждые пять секунд отсчитывают время его пребывания под водой. Прошло полторы минуты. Он улыбнулся. При такой гипервентиляции он может пробыть под водой и три минуты. Вынырнул через две минуты и двадцать пять секунд. Тамара посмотрела на него с укоризной.

Генерала очень огорчил проигрыш. Но пивом он поил Бориса в течение трех дней. Правда, не до самой Одессы, так как в самую Одессу они пришли на рассвете четвертого дня.

В течение трех дней на корабле сокурсники общались значительно меньше, чем в Сочи. Бориса отчасти это радовало. Он пытался приглушить воспоминания о пяти мучительных ночах. Трудно было это. Особенно, когда у бассейна он видел Тамару в купальнике. Но значительно больше он старался вытравить из души это непонятное желание защитить ее, оградить от опасностей, просто приласкать ее безотносительно к испытанному в течение пяти ночей. Зачем это ему, если она явно не нуждается в нем?

Еще во время первого обеда Борис рассказал пассажирскому помощнику о том, что он "заяц", потому что лопнули их финансы в связи с вынужденной задержкой в Сочи.

Помощник посокрушался. До Одессы - никаких проблем. Но вот в Одессе, как без билета вывести его из порта? Следует отдать помощнику должное. И он, и его подручные организовали проход Бориса через контроль самым лучшим способом.

Тут же с Тамарой они приехали в аэропорт. В кармане Бориса, ведавшего финансами, осталось ровно сто рублей, хотя на два билета необходимо было триста девяносто. На сей раз, Борис избрал другую тактику в отличие от той, которая случайно сработала при полете из Киева. Он разыскал экипаж самолета и честно рассказал о положении, в котором они очутились. За полет он предложил весь их капитал - сто рублей. Оба пилота рассмеялись.

- Ладно, студент. Не будем говорить о деньгах. Как только начнется посадка, валяйте к машине.

Посадка почему-то началась в невероятной спешке. Борис шел к самолету с двумя чемоданами. Тамара - с нескрываемым страхом. Борис даже попросил ее взять себя в руки, чтобы их состояние не стало известно всему аэропорту и отдаленным окрестностям. У невысокого трапа кто-то из экипажа подхватил у Бориса чемоданы и погрузил их в самолет. Но тут перед ними возникла типичная одесситка и потребовала предъявить билеты. Билетов почему-то не

оказалось. Уже работали оба мотора самолета. В последнюю минуту удалось извлечь чемоданы. Под охраной Тамару и Бориса привели в кабинет начальника аэропорта. Он должен был приехать на работу в восемь часов утра. А пока эта самая одесситка честила их последними словами.

Появился начальник аэропорта. Разумеется, всю вину Борис взвалил на себя, ни малейшим намеком не дав понять о сговоре с экипажем. Начальник оказался либералом. Пожурил их, сказал, что, конечно, следовало бы препроводить их в милицию. Но так и быть, уходите, пока живы.

Оставалась последняя возможность - железнодорожный вокзал. Тут подвернулся их коллега, студент, владелец автомобиля "победа". Но двадцать пять рублей, хоть и коллеги, он с них все-таки содрал.

Один железнодорожный билет в общий вагон стоил семьдесят рублей. Осталось ровно пять рублей. Они зашли в буфет и съели хлеб с кефиром. Осталось три рубля.

- Да, те пятьдесят рублей не оказались бы сейчас лишними, - задумчиво и очень печально сказала Тамара.

- Каких пятьдесят рублей?

- Тех самых. За вторую кровать, стоимостью десять рублей, в течение пяти ночей.

Борис онемел.

- По-настоящему я узнала вас на корабле. Инфантильность полнейшая. Свидетельство тому ваши пари и прочие штучки. Так что обижаться на вас просто неразумно.

- Но почему же вы хоть как-то не намекнули? - чуть ли не закричал Борис.

- Не намекнула? Ну, знаете! Девушка нагло навязывается парню сопровождающей в Сочи. Какие еще намеки?

- Я воспринял это как доверие и был польщен этим. Но мы же были вместе в доме отдыха три недели. Неужели нельзя было хоть как-то дать мне знать, что я вам не совсем безразличен?

- Не совсем безразличен... Как дать знать? К вам же нельзя было подступиться. Ожерелья девиц постоянно висели на вашей шее.

- Но это были чисто товарищеские отношения.

- Товарищеские! Конечно, вы со своей инфантильностью не понимали, что эти товарищи только и мечтают о стонах в ваших объятиях. Товарищеские...

- И все-таки...

- Возможно, в институте во время лекции мне следовало передать вам письмо, что-нибудь в стиле Татьяны Лариной. Почти два года безмолвного и безнадежного обожания. С того вечера, когда услышала ваш доклад об инстинктах. Какие пируэты пришлось проделать мне и моему ничего не понимающему отцу, чтобы достать путевку в дом отдыха! Какие надежды лелеяла я! Как обрадовалась, когда выяснилось, что вместо двух-трех дней у нас есть пять ночей! Пять ночей! И что? Пять бессонных ночей, когда я прислушивалась к вашему дыханию. Когда я так надеялась, что вот сейчас вы подниметесь со своей постели и ляжете рядом со мной.

Борис чуть не заплакал. Он взял Тамарину руку, чтобы поцеловать.

- Не надо. Я постараюсь выздороветь. Три дня на корабле мне кое-что объяснили. При всем вашем прошлом, при

всех регалиях, свидетельствующих о мужестве, вы остались ребенком. Именно так вас следует воспринимать. Вероятно, кроме страсти, которую я, собственно говоря, осознала только в Сочи, - до этого у меня к вам было платоническое чувство, - существует еще какое-то подобие материнской любви. Именно такой любви вы достойны.

- Но ведь когда я сказал хозяйке о второй кровати, вы могли меня поправить.

- Поправить? Вы это выкрикнули с такой поспешностью и таким возмущением. У меня возникла уверенность в том, что вы испытываете ко мне какую-то, ну как это сказать, какую-то брезгливость. Только этим можно было объяснить именно такую реакцию на вопрос хозяйки. После второй ночи, а наша конура, как вам известно, плохо проветривалась, я ощутила запах спермы. Помните, на физиологии нас познакомили с запахами и консистенцией. Я поняла, что у вас была поллюция. Весь день мысль об этом не покидала меня. Ночью, подумав об этом, я вдруг впервые в жизни почувствовала такое непреодолимое желание, такое наваждение, что, казалось, я сейчас умру, если не удовлетворю его. Откуда мне, девственнице, было знать, не имея абсолютно никакого опыта, что это такое? Мне безумно захотелось сейчас же, забыв о девичьей гордости, о стыде и скромности, встать и придти к вам. Но снова поспешность, с которой вы сказали хозяйке о двух кроватях, напомнила о том, что у вас ко мне брезгливое чувство. Не знаю, как мне удалось не заплакать. Если бы в ту ночь я знала вас так, как сегодня!

Борис сидел безмолвно, перекатывая по столу пустую бутылку от кефира. Потом поднял голову и снова взял Тамирину руку.

- Девочка, но ведь сегодня не прекращается существование вселенной. Ведь у нас есть будущее.

- Не знаю. Слишком глубока рана. Не знаю.

Началась посадка. Проводница, надо полагать, поняла, что Борис не провожает Тамару. Она, хороший человек, делала вид, что не замечает его. Сложнее было с контролерами. Но и здесь повезло. Рядом оказался симпатичный юноша, студент-москвич. Таким образом, на троих было уже два билета. Они очень ловко пользовались ими в уловках при появлении контролеров. Дважды им пришлось проделывать этот цирковой номер. А еще у студента тоже оказались три рубля. Борис и юноша вышли на узловой станции из вагона. Говорили, что здесь невероятно дешевые фрукты. Действительно, Борис за три рубля купил ведро слив, надеясь на то, что москвич догадается купить хлеб. Но москвич надеялся на то, что хлеб купит Борис, и за три рубля купил ведро абрикос. Такая фруктовая диета, уже вызывавшая тошноту, была у них почти в течение суток. Борис попытался продолжить разговор, который потряс его в буфете одесского вокзала. Деликатный по природе, он обволакивал Тамару нежностью. Но она ловко не замечала этого. Она вообще мастерски умела молчать.

Москвич расстался с ними за три остановки до конечной.

На перроне Тамару встречали родители. Тамара познакомила их с Борисом. Холодно подала ему руку и пошла с родителями к выходу, где они сели в такси.

Тут он вспомнил, что у него нет тридцати копеек на

трамвай. Забыла ли об этом Тамара, или решила, что человеку, выбрасываемому на ветер пятьдесят рублей как-то неприлично предлагать тридцать копеек, которые, к тому же, надо взять у родителей?

Борис вздохнул, поднял чемодан и медленно поплелся в гору.



Вот так выглядит автор только один день в году - 9 Мая, в День Победы.

Родился в 1925 году в Могилеве-Подольском (Винницкая область). В 1941 году ушел на фронт добровольцем после 9-ти классов школы.

Всю войну провел на передовой - сначала в разведке, затем - командиром танка Т-34, до конца войны - командиром танковой роты. Попадал в сложнейшие ситуации. Несколько раз его машины подбивали. Получил серьезные ранения, в благополучный исход которых не верили лечащие врачи. Но каждый раз, после

поправки, непременно возвращался в строй. Перенес семь ранений, в которых ему достались двадцать пять (25) пуль и осколков, в мозгу остался осколок, верхняя челюсть собрана из кусочков раздробленной кости, изуродована правая нога.

Награжден боевыми орденами: Красного знамени, Отечественной войны I степени, двумя орденами Отечественной войны II степени, медалью "За отвагу" (которой очень дорожит), польским орденом Крест Грюнвальда, многочисленными медалями.

С окончанием войны - демобилизовался, несмотря на противодействие начальства. Поступил в медицинский институт. Окончив, совмещал врачебную деятельность с научной работой. Защитил кандидатскую, затем докторскую диссертацию.

В 1977 году переехал на постоянное жительство в Израиль.

Много времени уделяет литературному труду. Опубликовал девять книг прозы и стихов.

Профессор Ион Деген - один из ведущих специалистов Израиля в области ортопедии и травматологии - сейчас на пенсии, но по-прежнему активен: пишет новые книги, консультирует по специальности, выступает в разных городах перед многочисленными почитателями.

Живет в Гиватаиме.